

899 215

ВЛ. ЖЕЛЕЗНЯК



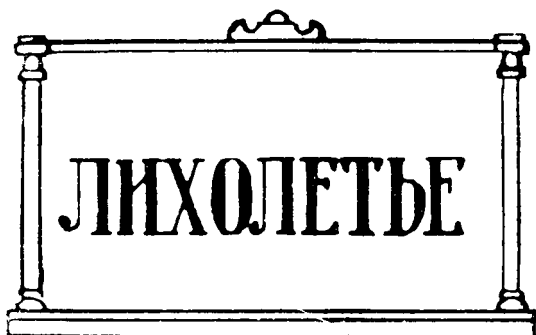
ЛИХОЛЕТЬЕ

The title "ЛИХОЛЕТЬЕ" is centered within a decorative, ornate frame. The frame is rendered in a light yellow or gold color with black outlines. At the top of the frame, there are stylized decorative elements resembling a typewriter carriage and other mechanical parts. At the bottom, there is a detailed illustration of a typewriter, showing the keyboard, carriage, and paper support. The entire design is set against a dark green background.

Северо-
Западное
книжное
издательство



ВЛАДИМИР ЖЕЛЕЗНЯК



**ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПОВЕСТИ**

899215

**ВОЛСГОДСКАЯ
областная библиотека
им. Л. В. Бабушкина**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСК, 1979**

Железняк В.
Ж51 Лихолетье. Ист. повести. [Для старшего школьного
возраста]. Архангельск, Сев.-Зап. кн. изд-во, 1979.
240 с.

Автору «Лихолетья» в этом году исполнилось 75 лет, из них пол-
века отдано литературе. Наиболее значительные произведения вологод-
ского писателя Владимира Степановича Железняка, посвященные
отечественной истории, написаны в жанре документально-художествен-
ной прозы. В настоящий сборник вошли новые повести, события
которых относятся ко временам царствования Ивана Грозного, Лже-
дмитрия I и Василия Шуйского, Павла I.

0763—033
Ж $\frac{\quad}{\text{M157(03)—79}}$ 1—33—79

P2

СЛУШАЯ ВРЕМЯ

Полвека работы в литературе и семьдесят пять лет жизни — сроки сами по себе весьма внушительные. А если учесть, что эти годы — время рождения и утверждения великой Страны Советов, станет очевидным, насколько значительны те общественные изменения, которые В. С. Железняку довелось узнать и лично пережить. Биография каждого человека складывается по-своему, но ответ времени в творческой судьбе неизбежен.

Свой творческий путь Владимир Железняк начал исследователем современности, и, хотя потом писатель обратился к прошлому России, дыхание современности неизменно в его произведениях. Он и в последние десятилетия пишет о делах и буднях современника, однако главное, что им создано, — это повести и новеллы на темы русской истории. В них, чутко слушая голоса далеких предков, писатель уверенно высказывает свои патриотические представления об истории, представления нашего современника.

...Родился Владимир Степанович Железняк 4 января 1904 года в городе Ковно (ныне Каунас), а его детство и отрочество прошли в Петрограде. С 1925 по 1930 год В. Железняк учился на Высших Государственных литературных курсах (ВГЛК). Вместе с ним учились Юрий Домбровский и Юлия Нейман, Виктор Гусев и Арсений Тарковский, Сергей Морозов и Дмитрий Борисов...

Уже с 1926 года очерки, статьи и рассказы молодого литератора печатаются в журналах «Экран»,

«Друг детей», «Крестьянка». Студентом он возглавлял литературную группу «Молодая кузница» и работал под непосредственным руководством Н. Ляшко, А. Новикова-Прибоя, Ф. Гладкова. В те же годы у него зародился интерес к Ф. М. Достоевскому, семинар по творчеству которого вел Л. Гроссман, — и этот интерес не угас и по сей день.

Серьезным литературным дебютом В. Железняка стала повесть «Она с востока», которая с одобрения В. Вересаева была опубликована в альманахе «Недра» (1930, № 18). Вызвал интерес писателей и читателей его рассказ «Оловянные солдатики» («Знамя», 1934, № 11), переведенный на французский язык в журнале «Интернациональная литература» (1935, № 5).

Обстоятельства его жизни сложились так, что в 1936 году ему пришлось переехать из Москвы в Вологду. Здесь в северном городе Владимир Железняк работал в редакции железнодорожной газеты, а затем в областном краеведческом музее, активно изучая памятники культуры и народного изобразительного искусства.

Он объездил с этнографическими экспедициями всю Вологодскую область, участвовал в организации художественного и исторического отделов музея, выступал с лекциями и докладами по изобразительному искусству, работал над статьями и очерками.

В годы Великой Отечественной войны В. Железняк был на оборонных работах, читал лекции, устраивал передвижные выставки в госпиталях. В 1943 году он был принят в Союз художников СССР, а через год его избрали ответственным секретарем Вологодской областной организации художников. Деятельность В. Железняка в те годы была отмечена медалью «За доблестный труд в Отечественной войне».

Двадцать лет он вместе с женой — художницей Ниной Витальевной Железняк прожил в старинной башне бывшей «цифирной школы» в комплексе Вологодского кремля. «Каждое утро, — позже писал он, — меня будили куранты звонницы и голуби, а летом — стрижи, а перед окном возвышался величавый Софийский собор. Собор вошел в мое сознание настолько зримо, что даже теперь на новой благоустроенной квартире нет-нет да и мелькнет в окне белопенная София и явственно зазвучат куранты...»

Реальный этот образ в то же время и символичен: в те годы определился его интерес к народному искусству, к прошлому Вологды, к славным страницам нашей истории.

Издавна занимают его и вопросы художественного творчества. Заметен небольшой по объему очерк В. Железняка «Художник Верещагин» (1959), вышедший в Вологде отдельной книгой. Намечая вехи жизненного и творческого пути большого русского художника, писатель показывает нам его духовный облик и творческую манеру в неразрывном единстве. Внимательно проследил автор связи В. В. Верещагина с родным ему русским Севером — эта тема Железняку особенно дорога. К творчеству В. В. Верещагина писатель обращался и позже, в статье «Художник-баталист — солдат мира» («Север», 1967, № 6).

Искусство северян Владимир Железняк оценивает как большой знаток. В этом убеждают, например, его обстоятельные статьи «Старина-матушка» — о деревянном зодчестве («Север», 1969, № 9) и «Вологодское кружево» («Нева», 1960, № 3). Статьи В. Железняка о живописи и народном искусстве — свидетельство не только эрудиции, но и тонкого проникновения автора в психологию художественного творчества. А главное — они являлись своего рода подготовкой к художественной работе самого писателя. В портфеле его лежат две новые повести — «Осенний мотив» и «Кружевное панно», но пока В. Железняк не считает свою работу завершенной.

Чрезвычайно плодотворным оказался постоянный интерес Владимира Железняка к истории и культуре Вологодчины. Познания его в этой области не только фундаментальны. За сухой строкой документа он умеет видеть живых людей в непосредственности их душевных движений. Пришло это не сразу.

Еще в 1947 году к 800-летию Вологды появилась книга В. Железняка «Вологда», второе издание которой, значительно дополненное, увидело свет в 1963 году. Это богатая фактическим материалом книга, подкрепленная документами, отмеченная чувством современности. И вполне справедливо В. Железняка критики назвали одним из тех людей, «которые не только горячо, но и активно, деятельно любят свой город, свой уголок земли. Они помогают ему расцвести и

хорошенько, эти люди раскрывают перед нами видимые и невидимые богатства родного края, душевные красоты родного народа, воспитывают любовь к родной земле, вкус к изучению его прошлого и настоящего» («Звезда», 1963, № 10).

Работа В. Железняка вступает в новый этап: рождаются книги исторических миниатюр, рассказов, повестей — «Отзвеневшие шаги» (1968), «Родное» (1972), «Голоса времени» (1976), в которых автор находит себя как художник по-настоящему самобытный.

Книги В. Железняка о родном крае поняли и приняли его читатели. Их отзывы говорят о том, что все они испытывают чувство признательности к писателю, уважают его работу, патриотическое значение которой несомненно.

В своих новеллах и миниатюрах В. Железняк всегда немногословен. В лаконичности его чувствуется точность летописи и динамизм современности. В смене картин, в активном развитии событий вольно и смело проявляют себя герои, резкие контуры событий соответствуют описываемой эпохе.

Свободно и уверенно В. Железняк чувствует себя в жанре исторической повести. В ней писатель находит живое дыхание истории, сживаетея с характерами людей, умело — в немногих деталях — воспроизводит быт. Таковы ранее опубликованные повести «Мастера», «Зарницы над Русью» и новые, представленные в этой книге.

Сейчас у Владимира Степановича как бы открылось второе дыхание, он работает очень продуктивно. Годы только придают силу его творчеству.

Василий Оботуров

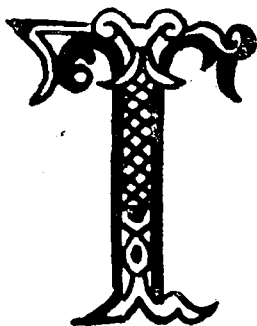


АНАСТАСИЯ —
ЦАРИЦА МОСКОВСКАЯ

Та бысть первая Царица Руская
Московского Государства

Летопись

ЦАРСКИЕ СВАТЫ



ОЛЬКО вдовица успела поднести к устам ложку медвяного горячего узвара, как в дверь без спросу вкатилась дворовая холопка Акулина. Нанесла, окаянная, с улицы на лаптях снега да навоза — коровий дух по горнице — и завопила:

— Матушка боярыня! К тебе муж государев в шубе и колпаке меховом! А еще молодец с усами черными, пригоженькой! — И глупому засмеялась.

— Подойди, дурица! — приказала старуха. — На колени стань, подлянка! — И цепко ухватила белыми пальцами замызганное лицо Акулины с вытаращенными от испуга глазами.

— Сказывай, холопья душа, какой-такой государев муж! Сказывай...

Сказывать было нечего. В горницу вошли уже знакомый дворцовый дьяк Семенов в богатой шубе до пят и боярский сын, тоже в шубе, но покороче и победнее. Остановились посередине. Покрестились на божницу с негасимой лампадкой.

Боярыня ногой лягнула холопку, и та уползла на карачках.

— Ты, боярыня, Захарына Романа вдовица? — спросил дьяк.

— Яз, батюшка, Иван Прокопъич, грешная вдовица. Ты же меня сколько годов знаешь! Али запомнил, как у покойного, царство ему небесное, Романа гащивал? — поднимаясь с лавки и кланяясь гостям, молвила боярыня.

— Знаю, матушка, знаю, но то для прилику. Поддай грамоту, Василий.

Молодец вытащил из-за пазухи завернутый в шелковый плат свиток.

— Читай громче.

Приятным тенорком боярский сын пропел:

— «Великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич повелел еси смотреть у всех наших бояр, окольничих, дворян и купцов именитых дочерей — девок, аки невест государевых, а которые дочь девку у себя утаят, тем быть в великой опале и в казни».

— Поняла, вдовица? — наставительно кашлянул в кулак Иван Семенов.

— Поняла, батюшка Иван Прокопъич, како не понять. Чай сам знаешь нашу Настасью. Только, батюшка, молодешенька она, пятнадцать годков голубоньке.

— Да и царь не перестарок, — усмехнулся дьяк.

— Не выкушаете ли, господа честные, по чаре? — И властно крикнула: — Люди!

«И откуда у щуплой вдовицы такой зык?» — удивился Василий, боярский сын.

С подобострастием вошли домашние слуги; видно, успели сменить посконную рвань на опрятную одежду. И на столешнице появились всякие пироги и заедки соленые, вяленая белорыбица, копченый лещ, в жбанчике икра, сулеи с медом и фряжским вином...

Подобрел дьяк, разгладил седую апостольскую бороду, на угодливые руки холопов скинул шубу и в синем кафтане сукна немецкого плотно уселся на почетном месте. Поодаль — Василий.

Послала хозяйка за дочкою и сыном Никитой. Гости сидели молча, ждали, а слуги все метали яства на столешницу.

Никита Романыч, в алом кафтане, зело статный,

с бородкой русой, свел с верхнего терема сестру. До чего же светла и баска была Анастасия! Тонка, высокая, с очами глубокими, косою льняной ниже пояса; походкою легка, аки серна лесная. И хотя ее насурмили, и надели на нее убор парчовый, и на шейку с синими прожилками повесили дорогие монисты (знай, мол, не бедного рода дева!), — от всего облика боярыш-ни веяло такой скромностью и чистотой, что старый дьяк зажмурился и благоговейно отдал ей низкий поклон.

— Будь здрава, Анастасия Романовна. Воистину счастлив был Роман Юрьевич, имея такое сокровище.

По обычаю приветила боярышня гостей вином в позолоченных чарах на серебряном подносе.

— Кушайте, гости дорогие, во здравие и во спасение.

Затем Анастасия удалилась, ибо не девичье дело мужские разговоры слушать, да и старая хозяйка больше угощала, чем вкушала.

Пили и за царя Ивана Васильевича, и за митрополита Макария, и за хозяев, и гостей. Разговорились.

Никита Романович, человек семейный, в боярской среде, как и брат его Данила и дядя Григорий Юрьевич, считался способным и удачливым. Но по родословцу они не дотянули ни до княжат, ни до знатных бояр. Служили их отцы и деды московским князьям честно и род свой вели от некоего Андрея Кобылы, что в четырнадцатом веке выехал из Пруссии на Русь. Отец Никиты и Данилы — Роман Юрьевич Захарьин в боярской думе восседал по чину окольничего не на первых скамьях, хоть и было времечко — досматривал дядя Григорий Юрьевич за здравием малолетнего великого князя.

Дьяк Семенов, друг способнейшего и начитаннейшего москвича — дьяка Ивана Висковатого, которого опасались стоявшие у власти царские родичи Глинские, задушевно беседовал с Никитой.

— Иван-то Васильевич юн, женится — остепенится. Ему бы твою сестру, Никита Романович, и вам бы, Захарьиным, в честь войти. Ведь страх берет глядеть: бабка государева — княгиня Анна да сыновья ее Михаил и Юрий, сам знаешь, государством завладели. Михайло Глинский теперь, опосля царского венчания, конюшим сделался, а Юрий — боярином. Земель-то хватали — аки псы ненасытные!..

— Что и говорить, Иван Прокопъич,— поддержал дьяка Никита,— что и говорить, наважденье истинное! Потакают аспиды Глинские царю, распутство и неистовство его восхваляют: молод-де, храбер-де, пущай, мол, забавляется, на то, мол, и царь! Князя Челяднина обесчестили, сослали, пасынка его — княжича Ивана Дорогобужского по навету Глинских на кол посадили, своему сверстнику Феде Овчине государь велел на Москве-реке голову отрубить...

— Невмоготу терпеть,— наливаясь слезами, пропел Василий, боярский сын.— У моего дяди Лексея Замятина в подмосковном поместьи Глинские разор учинили, избенки пожгли, тетку Глафиру князь Юрий изнасильничал, а дядю батогами из поместья прогнал!

— А ты чего не жалился? — Никита стукнул кулаком по столешнице — аж все кубки и сулеи зазвенели.— Чего не жалился, Васька? Разве такое можно терпеть?

— Жалилась овца волку — тот ее и задрал,— зло ответил Василий.— Турнут меня из жильцов дворцовых, семья-то: сам пятый, старуха мать да три сестры на выданьи,— «жалуйся»! Ты, Никита Романович, повыше меня сидишь, а поди с Глинскими в раздор — и тебя в ступе истолкут.

Замолчали.

Короткий зимний день кончался. За цветными оконцами темь. Зажгли свечи сальные. Свечи чадили — из чего только их не делали.

Дьяк Семенов посоловевшими глазами обвел горницу, нехотя поднялся.

— Ну, Василий, по домам, завтра надоть еще к двум невестам — девкам съездить. Прощевайте, господа-хозяева. Благодарствуйте. О беседе нашей, сами ведаете, молчок. Так-то.

Вдовица кланялась, благодарила. Никита Романович до сеней проводил дьяка и боярского сына.

Возница — холоп дьяческий, в нагольном полушубке — успел угоститься в боярской подклети сивухою да заесть пирогом с требушиною. Веселый и красный, он усадил господ в широкие сани, надвинул им на колени медвежью полость.

— С богом! — Иван Прокопъич уткнул бороду в меховой воротник и тут же захрапел — больно уж наугощался и наговорился дьяче.

АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА

Всю-то ночь не спала Анастасия. Под утро, серое, скучное, забылась. Проснулась, когда вошла мамка Меланья, вновь заплакала, всхлипывая по-детски.

Мамка испугалась. Прыскала на нее с уголька. Угольками такими в церкви святых Фрола и Лавра разжигают пономари кадила. Святой уголек! Мамка клала его в серебряную мису с водой, с молитвой набирала в рот тую воду и тихонько — прыс, прыс на боярышню.

— Не надо, мамка! — прятала та лицо в пуховую подушку. — Разве полегчает?

— Уголек-то от сглазу.

— А кто ж меня сглазил? Горе мое — от сватанья.

— А чего ж ты, дитяtko, скобенилась? Богородица пресвятая подаст те, Настенька, венец брачный, будешь ты царицей, все перед тобой земно кланяться зачнут.

— Мамка, отстань! — Анастасия приподняла голову: губы припухли, глаза покраснели и на щеках насурмленных засохли ручейки слез.

— Царь, мамка, гневлив и проказлив. Ростом-то с колокольню, а царством не занимается. Грех то, мамка! Коль ты государь — кошек и собак с терема не кидай, людей не дави...

— Грехи-то, грехи! — боязливо зашептала Меланья. — Ты, боярышня, — дева, не твоего разума дело про то царское государское мыслить — бояре да дьяки есть. Смотри, Настасьюшка, ей-ей...

— Отстань, мамка! — Анастасия села на постели. — Я не тварь бессловесная, вижу сама, что неправда, а что добро. Не по разуму? Ан лжу творишь, мамка, лжу! — Сверкнула очами.

Меланья аж рот раскрыла: и что с боярышней дается, ровно подменили?

— Мать государя великая княгиня Елена сама правила царством, ни Глинских, ни бояр не слушала.

— Вот то-то, боярышня, и умыслили на Елену Васильевну Шуйские... — Меланья вздохнула и буднично: — Пойдем-ко лучше, дитяtko, умоемся — вон что с личиком твоим стало, пойдем-ко, касатушка, в палату, поди заждалась тебя матушка боярыня.

СМОТРИНЫ

Как ни упрямылась Анастасия, противу материнской и братниной воли все же встык не пошла. Снова побелили и насурмили деву, укутали в парчу, понавешали жемчугов и лалов* и свезли ее братья с бережением в Кремль.

Собрались девы в кремлевских покоях, ровно цветы лазоревые, и ждали выхода государева.

Юный царь не замедлил. Сопровождаемый митрополитом и ближними боярами,— плечистый, высокий, в кафтане златотканом, в красных сафьяновых сапожках, подбитых серебряными подковками, нос с горбинкою, взгляд острый, пронзительный,— осмотрел собравшихся еще с порога и затем медленно прошелся вдоль рядов замлевших дев. Рассматривал бесстыдно, улыбался зло, как купец оценивал, прикидывал в уме, кто с ним брачную постель разделит. Одну боярышню, пышную, белотелую,— кожа у нее нежно-розовая — взял грубо за подбородок. Испугалась дева, бессмысленно ойкнула и сомлела, еле успели дворяне царские подхватить ее под микитки; оттащили в сени, где родитель дожидался.

— Чья? — Иван вперился взглядом в дьяка Семенова.

— Князя Петра Афанасьевича Массальского дщерь Екатерина, великий государь.

— Видать, княжна бесновата! — Царь стукнул ногой о ковер.— В женскую обитель ее — авось там выечат постом и смирением. Вишь какие телеса нагуляла! Князя-то Петра немедля отвезть в Кириллов монастырь. Немедля!

Пошли дальше. Анастасия стояла позади других девиц, надежду имела — пройдет мимо царь, не заметит, и вернется она в свой терем к матушке да к нянькам, к пяльцам, к тихости умиротворенной.

— Ты чего прячешься, боярышня? Аль не приглянулись мы тебе? Выйдь поближе, не бойсь, не кусаюсь.

Царь ястребом посмотрел на Анастасию.

— Великий государь,— вполголоса стал объяснять

* Рубинов

Семенов, — то боярышня Анастасия Романовна — дщерь окольного Захарьина, робка еси и приглядна...

— Не слепой! — И вновь: — Выйди-ко, Анастасия!

Невесты ее подтолкнули, кто с почтением, а кто завидком щипанул — может, вскричит.

Дева не вскричала, стояла, опустив голову.

— Глянь-ко на меня, боярышня.— И улыбнулся царь по-другому, в глазах мечтательность, и лицо не злым, не царским, а по-молодому приятным стало.

Анастасия подняла голову и взглянула прямо на Ивана.

Ой, наважденье, что ли? Будто подменили государя — не тот он стал и смотрит как-то ласково...

И улыбнулась боярышня, и от ее улыбки заравдовался Иван: дева-то, дева-то, сроду такой не встречал! Омыла она сердце Иваново чистотой, и он, уже торопясь — чина нельзя нарушать,— продолжал обход невест. Равнодушно глядел на красавиц, и дивились ближние бояре и дьяки: что-то присмирел Иван Васильевич, не рыкает.

Глинские глядели опасливо: Шуйских спихнули, Бельским — от ворот поворот, а каково будет, ежели Захарьина Настасья перекукует их самих, прирожденных князей? Шушукались, на дьяка Семенова яро взирали: хитер дьяк. Видать по всему, то — затея Висковатого, коего недаром невзлюбили. Ох, дьяки, дьяки! С посконным рылом да в суконный ряд пролезли!

Митрополит Макарий доволен: понял, что выбрал государь царицу, дай бог к счастью сие.

Кончился обряд смотрин. Царские жильцы с поклонами сдали Анастасию братьям Захарьиным, что в сенях с другими родными девиц дожидались. По льстивым улыбкам поняли Захарьины — пришла сестра по душе государю молодому.

Гаврила суетливо усаживал в возок сестру.

— Красавица ты наша, милуша!

У МИТРОПОЛИТА

Митрополит Московский и всея Руси Макарий в фиолетовой бархатной рясе, поверх которой сверкала золотая панагия, усыпанная рубинами, сидел в мяг-

ком кресле и беседовал с братьями Захарьиными. Владыка был еще крепок, худощав, смугловат, борода седая клинышком, на голове архиерейский клобук. Данила Романович чернобород, зрачки желтоватые с хитринкой устремлены почтительно на Макария. Никита рассеян, встревожен.

— Как, святой владыка, мыслишь? — спросил Данила.

— Чего тут мыслить! — Макарий тонкими пальцами поправил панагию. — Боярышня Анастасия будет царицей — Иван Васильевич похвалял ее, объявит вскорости боярам да духовным.

— Княгиня Анна и Юрий Глинские супротив ополчатся.

— То не помеха, Иван Васильевич упрям и, коли восхотел сильно, не даст в обиду Анастасию.

— Спаси тя господи, владыка, — воздел очи горе Данила.

— А ты что, Никита Романович, помалкиваешь? — Макарий пристально посмотрел на него.

— Чего же мне, преосвященный, говорить-то? Одно молвлю — жаль сестру-то, зрил я государя в гневе: не благообразен, страшен. — Махнул рукою. — Невинну девичью душу загубит, вот и весь мой сказ.

— Ты же, ты, Микита, ранее не супротивничал, — укорил Данила.

— Похотелось наверху быть, почета похотелось.

— Мысль твоя, сын мой, достойная. — Макарий перебирал четки, из-под седых бровей благосклонно поглядывал на Никиту. — И яз грешный благословляю сей брак Анастасии с Иоанном — для блага Руси. Твоя сестра, Никита Романович, дева нравом скромная, да и умом господь ее не обделил и красую, будет женой чадолубивой и нам помощницей.

— Тебе, владыка святой, лучше знать, — согласился Никита.

Вспомнили труд Макария о жизни святых — «четы миинеи».

— Яз грешный пишу сие, дабы прославить не токмо римских и греческих святых, но и российских чудотворцев и мучеников, мужей славных, стоятелей за землю, на коей мы с тобой живем. В каждом российском пределе есть свои православные молитвенники, и о них складываю новые жития.

— Доброе дело, доброе.— Никита вострепнулся.— Великая польза от сего зачнется.

Данила заскучал: был он весь мирской и философия Макария ему казалась забавою. Дабы не заметил митрополит его небрежение, он зевал в кулак, да не сдюжил, поднялся, попросил святительского благословения.

— Недосуг мне, грешному, твоим мыслям, преосвященный, внимать, на службишку в приказ пора.

— Изыди с миром,— сухо попрощался с ним Макарий.

Облобызав руку владыке, Данила Романович спешно покинул митрополичьи покои.

ЦАРСКАЯ СВАДЬБА

И пришла в Москву царская свадьба. Всегда на Руси свадьбы государевы справлялись зело шумно с веселием великим, всегда в такие дни отворялись ворота царских питейных кружал и народ честной угощался задарма, во славу молодой четы. Из казенных кладовых подьячие сплавляли народу рыбу с запашком, мясо с душком, муку затхлую и масло конопляное горькое, третьегоднее. Но бедолаги и нищие не чванились: и пироги уплетали, и похлебку ели во славу царскую, дабы чрева насытить.

Дивились москвичи необыкновенной скромности и красоте юной Анастасии и мужественному облику Ивана Васильевича, не сводившего взгляда с невесты.

В храме Богоматери, где свершалось бракосочетание, не продохнуть было. Бояре, окольниковичи, думные дьяки, почтенное купечество, воинские и выборные посадские старики прели в шубах и меховых кафтанах. От свечей, ладана, пота лоснились лица предстоящих, словно в предбаннике. Попали и Романовичи-Захарьины на первые места в храме, стояли рядом с вельможными Глинскими, чуть поодаль от царевых братьев: родного — Юрия Васильевича, большого юноши с бараньими глазами и слюнявым ртом, и двоюродного — Владимира Андреевича Старицкого, последнего на Руси удельного князя, высокого, доб-

родушного, с широким угреватым лицом. Владимир был слабоволен, но хитер, во всем зависел от матери, гордой княгини Евфросинии Старицкой. Она — спесивая, полнеющая, убранная драгоценностями, ровно идол, — стояла на женской половине вместе со старой княгиней Анной Глинской и ревниво взглядывала на царскую чету.

— И чего в Романовне нашел государь? Худуша, под румянами бледнолица. А скромна до поры до времени. Ты, матушка княгиня Анна, погляди на невесту: глаза-то опустила, да в них бес запрятан! Не приведи господь, коли возьмет Настаська силу над Ванюшей! Ишь как он на нее зыркает, женолюбец!

— Ничего! — Анна Глинская перекрестилась. — Не утруждай своего сердца, княгинюшка, всяко в жизни-то бывает. Всяко. Сегодня — яко маков цвет, а на утро — со святыми упокой.

Чинно крестились княгини, сладко улыбались.

Митрополичий хор громогласно и стройно возглашал славу новобрачным.

Завершив обряд венчанья, митрополит Макарий обратился к царской чете с пастырским наставлением.

— Днесь таинством церкви соединены вы навеки, да вместе поклоняйтесь всевышнему и живите в добродетели, а добродетель — ваша суть правда и милость. Государь, люби и чти супругу, а ты, христоролюбивая царица, повинуйся ему, како крест святой — глава церкви, тако и муж — глава жены. Исполняйте усердно заповеди и обретете благодать и мир в сердцах ваших.

За свадебным столом на большом месте сидел младший брат Юрий Васильевич, а на материнском — княгиня Евфросиния. В тысяцких — Владимир Андреевич, в дружках — Дмитрий Вельский и Иван Юрьев с женами, в сватах — Авдотья Нагая.

Гостей знатных не счесть. На столах — и лебеди жареные, и гуси, и кабаны, и заливные осетры саженные и налимя уха, и чего только не было! А вина разного, меда векового — всего не перечтешь! О пирогах, кулебяках да сладких коврижках и говорить нечего.

Анастасия, безучастная, как в забытии, на пиру сидела, холодными губами касалась горячих уст мужа...

И вот с прибаутками, с поклонами проводили мо-

лодых в опочивальню. Усталая, Анастасия присела на лебяжью перину. Иван, зело выпивший, подбоченился.

— Настасья! Снимай с меня сапоги. Слышь? Спать пора.

Анастасия взглянула на мужа, обожгла его потемневшими глазами, сказала удивленно:

— Я тебе, Иван Васильевич, не рабыня, а царица венчанная, хошь сам скидывай сапоги, хошь слуг зови.

...Ночью, лаская жену, он раскаянно умилялся:

— Настюша, цветик ты мой лазоревый, до чего ж я тобою доволен!

Ласки мужа вызвали у Анастасии ответную нежность. Она теперь соединена с ним неразрывно, навеки. Так молвил владыка Макарий. Слово-то какое: навеки! И она заплакала от неведомого ей прежде чувства, обняла за шею мужа.

— Ванюша, сердечный!

За окном у подклети брачную ночь караулил на белом коне первейший боярин — конюший князь Михайла Глинский. За дверьми опочивальни, оберегая молодых, легли на медвежьи шкуры Никита Романович да князь Иван Мстиславский...

И опять пиры, гостеванья, милости царские и для колодников тюремных и для нищих калик перехожих, но больше — для жадных вельмож: и землицы-то им, и казны-то им, и платья всякого...

Немудрящий летописец записал тогда: «Царь и Великий князь одарил богатых, а благоверная царица — сирот и вдовиц бедных».

В первую неделю великого поста отправились на богомолье в Троицкую лавру. Шли пеше ради смирения христианского, а коль уставали, сажали царицу в возок, а Иван Васильевич на борзого коня садился.

В Троице говели. У раки Сергия Радонежского молодая царица со слезами просила преподобного, чтобы укротил гневливость мужа и забавы его дикие.

Тоненькая, с приветливой улыбкой, ходила она в окружении боярынь и сенных девиц, оберегаемая дворцовой стражей, и дивились окрестные богомольцы и монастырские крестьяне ее легкому шагу и тихому голосу, кланялись непринужденно с превеликой охотой: «Да хранит тя, касатка, царица небесная, утешенье ты наше!»

ПСКОВИТЯНЕ ЧЕЛОМ БЬЮТ

А народу русскому православному жилось скверно. Надеялись, верили — доверчив и терпелив русский крестьянин, — что войдет государь в совершенные лета и призовет неправедных бояр, воевод и дьяков на правож — на суд справедливый. Ждали... Да что проку ждать-то, ежели власть-то боярская, а утроба у них ненасытная. Поборами, пенями да подушными, аки аспиды хищные, дают!

Были при малолетнем государе Шуйские — давили лиходейно, пришли Бельские — ни вздохнуть, ни охнуть. Ныне Глинские, родичи царские, на верхах сидят; эти еще хуже, еще злее; подручные ихние на кормлениях по городам и селам последние кровиночки выжимают, жилы христианские выматывают — и все именем царя и великого князя.

Новгородцы ярились на неправды московских княжат, но Глинские заставили государя утихомирить их буйные головушки.

Во Пскове воевода Турунтай-Пронский — угодник Глинских до того обнаглел, что на торг выйти никто из крестьян и посадских не смеет: приглянется воеводе лен привозной, али мед, али что из другого — отбирает на боярский двор да еще насмехается — вы, мол, овцы, с вас и стречь-то шерсть господом богом издавна заведено, вы мне на кормление дадены.

Кому жалиться? С кем судиться? У них сила воинская, остроги да батоги. Кляли ранее-то правительницу Елену, литвинку гордую, а теперь и о ней вспомнили добром. Властная была Елена, да волю и своим родичам и другим боярам не давала, в узде крепко держала.

Собрали псковитяне сход. Послали к царю молодому Ивану Васильевичу выборных стариков да степенных мужиков, дабы те челом ему били:

«Уйми, государь-батюшка пресветлый, наших лиходеев! Отринь от власти-то старуху, бабку свою Анну, да дядьев Михайла и Юрия Глинских! Наложки опалу на псковского воеводу».

Псковитяне, положили на повозку дарения: меда бочку, рыжиков и груздей соленых, да белых грибов сушеных, да медвежьих шкур, да еще святость —

древнюю икону Николая в серебряном уборе с камнями. И предстали перед светлые царские очи.

В ту пору Иван Васильевич с дядькой Михайлом в подмосковной вотчине на охоте пребывал. Дядька ублажал царя рейнским вином, девками-плясуньями, рожечниками. Не охота была, а одно непотребство. Молодая царица Анастасия Романовна в Москве осталась. То на руку Глинским: опасались они ее — как взглянет печально на своего молодого мужа, тот враз меняется, каяться начнет: «Прости, Настасьюшка, сердце милое, вот увидишь, другим исделаюсь, не печаль душеньку свою голубиную», — и на дядьев гневается. Хорошо, что в подмосковной нету царицы.

К псковитянам Иван Васильевич вышел зело упившись. Дядя Михайла ему нашептал: «Псковитяне, великий государь, изменники, о вольности помышляют, воеводу не почитают. Гнать их след, отступников».

— Государь! — завопили старцы, земно кланяясь. — Помоги нуждишкам нашим, мочи нет, пресветлый!

Иван Васильевич, пьяный, раздосадовался:

— Молчать, смерды! Каку таку нуждишку? Короля литовского похотели? Почто сумятитесь, нечестивцы?

Он ударил ногой старика посадского, склонившегося перед ним, ударил прямо в лицо, раскрасовил. Еще пуще озлился.

— Мужиков на дорогу вверх задами положить! — повелел.

Со смехом царские слуги принялись исполнять приказ. Псковитяне сопротивлялись, кто-то обнажил саблю, кто-то из пицали стрельнул — и что тут зачалось!..

Натравили псари гончаков на посланцев, справились с ними, непокорными, связали ихними же поясами и, пиная, побросали на дорогу лицом вниз.

Старые почтенные люди, те, на ком государство русское держится, лежали в грязи дорожной, избитые царскими холопами, лежали, ожидая смерти.

Шурин государев, окольниковый Никита Романович, стоял у шатра, негодуя.

— Что буркалы-то уставил, господин окольниковый? — спросил его Михаил Глинский. — Али не по душе тебе царское баловство?

— Сие не баловство, а умаление государева чина, — отвечивал Никита.

— Храбер ты, Романович. Скажешь ли тако Ивану Васильевичу? Мотри, не забирайся выше облака, не гордись братовством с царицей.

А на небе тучи сошлись — поднялся сильный ветер, пошел обложной дождь. В это время на московской дороге показались всадники, скачущие во весь опор, — дворцовые воины в зеленых колпаках и кафтанах. Приблизились, спешили у царского шатра. Старшой в кафтане с позументами, бряцая саблей, почтительно Ивану Васильевичу:

— Государь великий, беда в Кремле: большой колокол-благовестник со звонницы упал — аж на четверть в землю ушел. Народ дивится сему чуду. Государыня-царица кланяется тебе, великому государю, и ждет твоего приезда — успокоить след народ.

— Коня! — Иван Васильевич сразу отрезвел. — Царица-то в здравии? Не испужалась? — на ходу спросил старшого.

— Государыня Настасья Романовна, кажись, в здравии, а испужалась-то, вестимо. Не токмо бабы, а и мужики в смятении.

Когда уехали царь и Михайла Глинский, Никита Романович подошел к псковитянам.

— Вставайте, добрые люди, именем государя, царя и великого князя велю вам вернуться в псковские пределы.

И к оставшимся московским воинам:

— Освободите немедля псковитян.

Посланцы — их было человек семьдесят — молча (ох уж и народ псковский, каменный, несгибаемый) оделись, перекрестились.

— Спаси тя господь, Никита Романович! — И старик посадский тоекратно облобызался с окольным.

ЖИТЬ СТАЛО НЕПОВАДНО

Когда узрел псковский люд своих посланцев, истомленных, избитых, — всколыхнулся, да так, что воевода Турунтай струхнул, ночью убежал из города. В отместку жители разгромили его палаты, разнесли в

прах приказную избу, покалечили двух приказных.

И вновь главный боярин — конюший Михаил Глинский послал в Псков полки смирать бунтарей.

— Ванюша, — говорила Анастасия — царица московская государю. — Неужто ты ослеп? Народ на тебя обиду таит. Украти ты дядей, не давай им воли!

— Ах, Настасьюшка, юница ты моя! — Иван нежно брал ее ладони и прижимался к ним глазами. — Подожди немного, остепенюсь, тогда сам державой управлю. В детстве-то натерпелся от бояр. Сиротой вырос. Яз и Юрий скудно жили, в нужде. Старик Иван Васильевич Шуйский сядет в опочивальне на лавку, ноги-то в сапогах на отцову постель положит и паскудит покойну матушку государыню, а мы, детишки, ему внимаем. Глинские, сам ведаю, воры, но все-таки родня, не предадут. Верись мне?

— Коль захочешь, коль бог наставит, поверю. Умень ты и тороват. Но ты — самодержец, от бога поставлен!

Она отнимала от лица Ивана свои руки. Красивое лицо блекло.

Царь уходил с тоской на сердце, мрачнел. Появлялся боярин Юрий Глинский.

— Что закручинился, державный? Чем прогневали великого государя?

— Плохие-то вы управители, в свое догово тянете, а народ?

— Видимо, царица молодая опечалила тебя, государь, — вкрадчиво говорил Юрий. — Мы с братом денно и ночью печалимся о державе. То Романовичи-Захарьины на нас царице клепают, она же, милостивица, им верит.

— Оставь царицу в покое, не мерзи своими устами чистое имя государыни! Понял?

— Понял, пресветлый государь, прости меня несурядного, неумного. Яз по простоте ведь.

Юрий Глинский попятился к двери и по переходу — на двор. Поехал к конюшему боярину Михайлу.

— Царица-то, смиренница, зубки показывает, государем завладела. Серчает Иванушка на меня и на тебя.

— Улестим! — говорил Михаил. — Улестим Ванюшу. А с Захарьиных собьем спесь!

Народ московский вскипал подспудно. Колокол-то упал, видать, не зря, а на подворье протопопа Савелия курица петухом кричала звонко и горестно — плохие приметы. Жить стало неповадно, ой, неповадно. А причина — Глинские. Мать ихняя, княгиня Анна, по ночам, злобная, чары напускает на царя, на потрохах черного петела гадает.

Сумятился народ. А коли так, кому вред?..

БУНТ МОСКОВСКИЙ

В полдень двадцать четвертого июня 1547 года зачался свирепый московский пожар. Из-за скученности деревянных домов, лишь кое-где разделенных садами и огородами, столица пламенела костром. Поднялась страшная буря, разжигая пожар, сметая все на своем пути. Пожар пришел от церкви Воздвиженья на Арбате. Вскоре вспыхнули Кремль, Китай-город, Большой посад. Взрывался хранимый в башнях порох. Москвичи уже не думали о спасении имущества, старались спасти свои жизни.

Митрополита Макария, молившегося в алтаре Успенского собора и уже задыхающегося от гари, вынесли на руках и отвезли в Ново-Спасский монастырь.

— Храните молодого царя и благоверную царицу! — взывал митрополит к окружавшим. — Не дайте погибнуть юному отпрыску Рюрикова племени. Воины православные! Спасайте не богатство, а людей, чад малых!

Царь же приказал прежде всего доставить царицу в летний дворец села Воробьева и вскорости сам туда удалился с боярами: пожар ужасал его.

Горе народное было неопишимо: сгорело в огне более тысячи семисот жителей, в том числе и дети; гибнул и домашний скот — мчались по узким улицам с кровавыми, обезумевшими глазами кони, быки, коровы...

И ходил по Москве в нищенском, обугленном одеянии, босой — ноги-то покрыты волдырями — Василий Блаженный. Он помогал погорельцам чем мог — сил-то еще у Василия хватало.

— И, милачок, не бойсь! — выводил он из горящей конюшни коня. — Не бойсь! — И конь успокаивался и, ёкая, переступал порог.

Маленький, быстрый Василий хватал за рога коров и проводил их через пламя.

Царь, увидев Блаженного в пламени, приказал стрельцам отвести Василия подальше от пожараща.

— Здесь мое место, Иванушка, — отвечал тот, — ты лучше себя да свет Настасьюшку побереги...

К вечеру затихла буря, угасло на пепелище пламя, но еще трое суток дымились развалины.

Царь повелел восстановить постройки Кремля, то же поспешили сделать бояре и именитые купцы. Старая княгиня Анна Глинская и Михаил на время сумятицы удалились в свое ржевское имение, Юрий остался с царем. О народе позабыли, но он сам о себе напомнил.

Когда бояре вернулись в Кремль, дабы наблюдать за восстановлением хором, народ окружил их:

— Выдайте нам, — кричали черные люди, — бабку государеву и Глинских! Они напустили бурю на Москву!

— То небылица, — обратился к народу испуганный Юрий Глинский. — Помыслите сами, православные, на кой ляд нам, боярам, сие дееть?

— Княгиня Анна с терема подолом стряхивала чародейство. Ты, выродок ейный, да брат твой Михаил людей мучили! Вы государя испортили! — раздавались разъяренные голоса москвичей.

— Враги твои Шуйские на вас лжу навели, — зашептал Глинскому его дворецкий Иван Маслов. — Не раздражай народ, княже, вишь, какие они супротивники! Спасайся, гряди в Успенский собор за мной, княже!

Маслов за спинами бояр и стражников повел дрожащего Юрия в Успенский собор. Войдя в собор, Юрий преклонился и перекрестился.

— Слава те боже, избавил мя еси от напрасной смерти!

Рано радовался боярин. Соборный пономарь, у которого сгорели жена и дети, выбежал на паперть.

— Православные! Наш ворог князь Юрий в соборе, аки тать, спасается.

Посадские ворвались в собор. Не остановило их и почтение к митрополичьей святыне.

— Не поганьте божий храм,— посоветовал пономарь.— Вытащите сего хриstopродавца на паперть.

Так и сделали. Выволокли Юрия, разорвали на нем богатую одежду, били дубинками... Потом мертвого за ноги потащили к лобному месту, чтобы могли москвичи видеть поверженного ненавистного боярина.

У хором Глинских прикончили дворецкого Маслова и еще нескольких приказчиков и пошли густой толпой гулять по Москве, ловить и казнить приспешников Глинских, вымещая на них свои боль и гнев.

ПОП СИЛЬВЕСТР

— Ванюша светик! — Анастасия тронула за плечо царя, стоявшего у окна в опочивальне.

Царь видел, как по двору ходят воины с алебардами и пищалями. Их шлемы отсвечивают на раннем летнем солнце. Здесь в Воробьевском дворце Иван с ужасом глядел на отсвет пожара и слышал мольбу, вопли возмущения; сюда стекались испуганные бояре и дьяки, здесь деловито готовились к отпору народной ярости.

Сюда ночью явился со словесами укоряющими, словесами, повергшими в раскаянье царя, высокий пышноволосый рыжий поп Сильвестр из храма Благовещенья. Указывая перстом на вспышки утихающего пожара, поп, имея вид иступленный, как бы в наитии божественном изрекал:

— Злостранный юный царь! Суд царя превышнего, небесного гремит над твоей головой. Покайся! Ты еси млад и делами добрыми утишишь фиал гнева в сердцах подданных своих. Отринь, сыне, вельмож неправедных и призови верных, послушных твоей царской воле. Неужель не зришь, самодержец, видение чудное, десницы, тя благословляющей? — Сильвестр воззвел глаза, и Ивану показалось, что над ним распростерлась мощная десница вседержителя.

— Укажи мне, отче, правый путь,— сказал он,— и благослови грешного царя Ивана.

— Благословляю тя, чадо, на дела добрые, на милости ко всем православным христианам. Будь грозным для супостатов и добродетельным для народа.

Всю ночь проговорили поп Сильвестр и царь Иван. Распростились утром. Царь смиренно просил попа не оставлять его без совета, быть ему учителем на стезе добродетели и правления.

Иван стоял, смотрел в оконце, думал. И, когда Настасья окликнула его, вздрогнул.

— Что, любя моя?

— Словно в одночасье изменился ты, Ванюша, рада за тебя.

— Отцу Сильвестру зело благодарен. Аки древний Моисей победил он мои грехи, привел к покаянию.

— То не он, Ванюша, — знать, час твой пробил. Поп тот лишь вовремя душе твоей помог доспеть.

— Нет, Настасьюшка, нет! — горячо заговорил Иван. — Ты мое сердце пробудила, а отец Сильвестр — ум.

Он обнял жену, так и стояли они, юные царь и царица, переживая и любовь свою и надежды.

По солнечному двору вышагивали воины, и на каждом шлеме сверкало солнце.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦАРЯ ИВАНА

С той памятной ночи, с того народного всплеска Иван переменялся. В молодом царе, готовом отдать все силы для блага Руси, нельзя было узнать прежнего своенравца и мучителя.

Только утихло возмущение черного люда и посадских, как царь созвал на совет не только бояр и окольных, но и помещиков-дворян, воинские чины и приказных. Созвал их и от родной столицы, и от поместных городов, чтобы высказать всем свои помышления. Обращаясь к Макарию, как к первоприсутствующему, Иван воскликнул:

— Молю тя, святой владыка, да будешь помощник нам и любви поборник! Сам ты, яко аз, остался сиротой. Бояре и вельможи о мне не радели и самовластны были, сами себе чины моим именем похищали. Аз, яко глух был и не слышал, юн и пуст был. Они же властвовали...

Царь остановился, на глазах его выступили слезы,

повернулся к боярам. Те, видя волнение Ивана, слыша гневные его слова, перестали шушукаться и замолкли.

— Злые крамольники, вельможи знатные, вы творили то, что хотели! Сколько слез и крови от вас пролилось! Ждите суда небесного. А вам, верные воины, чины поместные и прочие служители, — Иван поклонился собравшимся, — хотя минувшего зла не исправить, обещаюся перед богом и владыкою впредь спасти вас от вельможного грабительства. Буду вам, яко заповедано царю, судьей и защитой.

До сего важного события боярская дума приговорила в присутствии государя и митрополита снять с князя Михайлы Глинского, первейшего боярина московского, высокое титул конюшего*.

Тогда княгиня Анна подала совет сыну бежать с верными слугами за рубеж и просить защиты у наисветлейшего короля литовского. Князь Михайло собрал сотню вооруженных слуг и холопов ржевских и глубокой ноябрьской ночью бежал к границе. К нему присоединился и опальный воевода псковский Турунтай-Пронский.

— Я ишо вернусь, — пообещал Глинский своим приверженцам, — и не один, а с силою несметной.

Побег не удался. Молодой воевода Петр Шуйский с дворянской конницей учинил за ним погоню и доставил Михайла и Турунтая в Москву.

Царь не захотел видеть дядю изменника, поручил решение дела митрополиту Макарию, по приказу которого князя Турунтая-Пронского сослали в дальний монастырь. Глинскому Макарий сказал:

— Княже, нарушил ты слово верности природному государю и племяннику. За таковы изменные проступки в темницу ты след заточить, но Иван Васильевич, милостивый судья, повелел отослать ты, княже, в дальнюю твою вотчину для безвыездного проживания, а ежели паче указу ты норовишь в бега, то ожидать тебе казни.

— Владыка! — взмолился Глинский, — яз богат и поклонюсь тебе, преосвященному, для двора митрополичьего двумя деревеньками подмосковными лес-

* Чин конюшего равнялся современному званию канцлера, премьер-министра.

ными, дабы ты принес к стопам государя мою просьбишку: пожаловал бы мне Иван Васильевич проживати со старухой матерью и родичами в Москве.

— Несусветное молвишь, княже! — даже удивился Макарий. — Кончилось ваше, Глинских, самоуправство. А что касается твоих вотчин, то государь ими распорядился — взял половину в казну для жалованья ратным детям боярским, остальное бабке, княгине Анне, оставил.

Таков был конец боярского правления Глинских.

Теперь Ивана Васильевича окружали люди молодые, деятельные. Среди них особой доверенностью царя пользовался юный летами, рода костромского, захудалого, служивший в приказе Алексей Федорович Адашев. Был он не мздоимец, жалостлив, государю предан, начитан, и ему поручили принимать челобитные от разных чинов вплоть до простого люда и самому решать участь их. Прибавилось власти и думному дьяку Ивану Висковатому. В совет, близкий государю, вошли: поп Сильвестр, не принявший от царя ни чина, ни деревенек, воевода князь Андрей Курбский и братья царицы Захарьины. Этот кружок в истории получил название — избранная рада. Главным советником царя оставался и по чину и по уму зрелому владыка Макарий.

Начались перемены к лучшему. Русь набирала силы и готовилась к большим делам.

И НАСТУПИЛИ РЕФОРМЫ

Россия середины шестнадцатого века. Юные царь и царица. Рядом с ними молодые деятельные советники. Старинных родов бояре хмыкали, тихонько осуждали, думали: молодо-зелено, войдет в силу царь и поуспокоится. Но не успокаивались молодые. Скрипели перья, выводя незнакомые прежде требования, предлагая новшества, коих ранее не только чурались, но за которые и казни лютой предавали.

Отверзлись вновь уста для великого спора между «нестяжателями» — заволжскими старцами, сторонниками преподобного Нила Сорского, и «осифлянами» — горячими последователями преподобного Иосифа Во-

лоцкого. Нил Сорский — иеромонах начитанный, церковный писатель, учил иноков воздержанию, глубокомыслию и толкованию священных книг. «Не ищите богатство на земле», — говорили нестяжатели. Монахи должны трудом воспринимать истину, в поте лица своего добывать пищу, монастыри обязаны вернуть деревни и земли государю. Нестяжатели были любя боярству и князьям-вотчинникам, на земли их не за- рились.

А осифляне, наоборот, проповедовали, что монастыри должны покупать и земли и села и иметь рабочих людей, дабы могли иноки и за царя молиться и трудами летописными и богословскими заниматься. Благородному, вступающему в монастырь, нужны удобства, «а то только смерды постригутся — невежды черные». Осифлянские духовные чины, владыки церковные в середине шестнадцатого века вынуждены были признать царский закон, ограничивший частично крупное монастырское землевладение в пользу помещиков-дворян, и стали держать сторону этого нового поднимающегося сословия. Во главе осифлян стоял митрополит Макарий.

Нестяжатели отличались бóльшей самостоятельностью, более широким просвещением, получали крупные деньги за переписку рукописных книг, украшая их затейливыми орнаментами и буквицами.

Нестяжатели пользовались покровительством светских вельмож-бояр. Они были сторонниками феодалов и в том, что не сочувствовали централизации единой Руси под властью самодержца.

Царь, еще неопытный в правлении, полагался на кружок Адашева, на опыт Макария и дьяка Висковатого. Дельцы из приказов помогали царю осуществлять централизацию государства. Начинались реформы. Стоглавый собор (по числу изданных статей) на пожелание царя Ивана об изъятии монастырского землевладения принял половинчатое постановление: земли, поступившие в монастыри до смерти Василия Третьего, остаются за ними, а после смерти его отбираются в казну и впредь запрещается архимандритам и игуменам получать в дар или покупать отчины без ведома и согласия царского. Было запрещено боярам и купцам строить ради собственного тщеславия церкви. Грамотным и просвещенным священникам и дьяконам было

велено серьезно учить детей духовенства и посадских грамоте и цифири, для чего завести в Москве и иных городах училища.

Под руководством Алексея Адашева был создан «Судебник» с подробным изложением новых статей, взявший за основу «Уложение» Ивана Третьего. Тут была статья и о местничестве. Раньше на войну воеводами шли не по таланту, не по воинскому опыту, а по роду: у кого родословная знатнее, тот и командовал полками. По новой статье только главный воевода был избираем царем по родовитости, остальные — по достоинству. Так воеводой сделался даровитый полководец Федор Адашев — отец Алексея.

Новые реформы коснулись и воинского набора: не только помещики, но и бояре стали обязаны выставлять воинов по количеству земельных угодий. Было организовано регулярное войско — стрелецкие полки, носящие единообразную форму. Прибавился и промежуточный чин — стольник, ниже окольничего, но выше жильца*. Стольники находились и при царском дворе и служили в уездах наместниками, воеводами и использовались для дипломатических поручений.

В городах ввели земские выборные должности — целовальников, губных старост и старшин. Выборные люди входили в состав наместничьих судов.

Знаменитый писатель того времени Иван Семенов Пересветов (выходец из Литвы), обращаясь к царю Ивану, призывал его возлагать все надежды не на вельмож неправедных, а на воинов, то есть на дворян и детей боярских, и крепко держать в руках самодержавную власть... «Царь на царстве грозен и мудр — царство его ширеет и имя его славно по всем землям».

В «Сказании о Магмет-Салтане» писатель восстает против холопства и рабства. «В котором царстве люди порабощены, и в том царстве люди не храбры и в бою против недруга не смелы». Пересветов распространял свои идеи о воинстве, считая, что быть дворянину холопом у боярина негоже, относительно же крестьян-

* Ж и л е ц — уездный дворянин, живший при государе временно на военной службе. Жильцы сопровождали царя в выездах, несли охрану во дворце, выполняли мелкие поручения.

холопов не высказывался: Иван Семенов Пересветов был трубой громогласной и грозной, но дворянской.

Помещики-дворяне приобрели большую силу, на что косо посматривали княжата. И все же бояре оставались у власти. В боярскую думу — главную крепость вельмож дворяне попадали редко. Несмотря на реформы Ивана Васильевича, во многих указах по-прежнему писалось: «Царь самодержец Всея Руси приказал, а бояре приговорили...» Но все же бояре получили серьезное предупреждение, чему радовались молодые приближенные царя.

Поп Сильвестр закончил книгу «Домострой», в которой строго регламентировался домашний быт: когда вставать, когда творить молитву, как обращаться с женой, детьми и со слугами, как их миловать и наказывать, во что одеваться, чем питаться, что читать, как слушаться отца духовного... Впоследствии царь Иван вспомнил, как связывал его волю своими правилами составитель «Домостроя».

Тогда же на Руси появились проводники вольномыслия, и не где-нибудь, а в монастырях и поместьях. Таковы были игумен Троице-Сергиева монастыря Артемий, боярский сын Матвей Башкин и монах Феодосий Косой. Они восстали против правящей православной церкви, против многих церковных канонов. Матвей Башкин отпустил на волю своих холопов, разорвав их крестоцеловальные записи — «кабалы»: «Христос учил — возлюби искреннего своего, яко сам себя, а мы де рабов у себя держим. Христос всех братьей нарицал. Благодарю бога моего, у меня де что было кабал полных, то все изодрал».

Феодосий Косой дошел до полного отрицания внешней обрядности — храмов, монастырей, икон, церковных таинств и постов. Он утверждал: «Все люди едино суть у бога: и татарови, и немцы, и прочие языцы».

У этих вольнодумцев появились сотни последователей, что беспокоило власти и митрополита.

На церковном Соборе 1554 года их осудили. Матвея Башкина — на пожизненное заключение в Волоколамском монастыре. Настоятеля Артемия сослали на Соловки, а Феодосия Косого посадили в монастырскую тюрьму. Через несколько лет Артемию и Феодосию удалось бежать в Литву.

ГРУСТИТ АНАСТАСИЯ

Шла длительная казанская война. Царь находился под Казанью. Ее надо было взять во что бы то ни стало, чтобы покорить ханство, сделать его достоянием Руси. Довольно ханы пожгли московских сел и посадов, увели десятки тысяч полонян и полонянок.

Анастасия беспокожно ждала Ивана Васильевича. Волнуясь, подходила к разноцветному окошку, всматривалась, не прилетит ли царь с гонцом весточки.

Боярыни Мстиславская и Репнина в один голос:

— Не сумлевайся, государыня, помнит тя государь молодой, пресветлый сокол наш. Да как забыть таку красу!

Анастасия в замужестве похорошела. Темнели на белом лице тонкие брови с изгибом, грудь высоко поднялась, глаза увлажнились любовью и тревогой.

Тревожилось сердце Анастасии: была она беременна, ждала наследника, о коем оба мечтали. Не будет мальчика — и кончено: все под богом ходим — и молодой государь может преставиться. Кому тогда на престоле сидеть в злаченной шапке Мономаха? Брат Ивана Юрий Васильевич — все знают — не способен к правлению, нем и придурковат, хоть и женили его. Но есть еще князь — брат двоюродный — Владимир Андреевич Старицкий. Вот кого бояре возлюбили! Мать князя Евфросиния спит и во сне видит царство Московское. До чего же она невзлюбила Ивана — и сказать нельзя, какими ненавистными очами взирает она на царя! Не может забыть того, что правительница Елена погубила ее мужа — князя удельного, а ее самую и сына в страхе великом подневольном держала. Правда, теперь Евфросинии и Владимиру почет и уважение, княжество Старицкое при них, дружину и придворных бояр и дворян им оставили, хоромы в Кремле Владимиру выстроили, а все же она ждет не дождется какой-либо беды с царем.

Грустит Анастасия, вспоминает, как, уезжая в поход, Иван Васильевич при боярах и воеводах обратился к ней: «Царица возлюбленная, Анастасия Романовна, повелеваю тебе милостыню творить, опалы снимать, заключенных в темницах миловать».

Любит она своего Ванюшу. Внимает ему радостно, когда он, вырвавшись из круга друзей и вельмож, обнимет ее и начнет рассказывать о своих делах. До чего тогда хорошо! До чего тогда жить хочется! «Ах, Ванюша, Ванюша, красны дни мои с тобой, любимый!»

— Дай бог сына! — молится Анастасия. — Помоги, царица небесная!

Покарал ее господь: две дщери Анна и Мария померли в младенчестве. Лекарь говорил, «от раннего твоего возраста», не окрепшая, мол, слабая.

Сколь слез она пролила о детях, как тяжело отпевать их — маленьких! Теперь Анастасия в возрасте — двадцать годков. Царь ночами шептал: «Ты краше стала, ты лебедушка моя».

— Господи, пошли сына!

Княгиня Евфросиния заходила.

— Како, племянюшка, здравствуешь? — Пристально всматривалась в фигуру царицы. — Мотри, Анастасьюшка, за чревом, береги наследника! — и (ох, ехидна!) улыбалась. — Не все же, красавица, тебе девок квелых рожать!

После такого посещения у Анастасии болело сердце. «Тук-тук», — настойчиво частило оно, словно хотело выскочить пташкой из груди и лететь к Ванюше-царю за словом ласковым, за утешением.

ЦАРИЦА И ПОП

Поп Сильвестр каждодневно ходил в кремлевские храмы досматривать восстановление стенописи после пожара. Изографы в Благовещенском соборе встречали его трепетно — суров больно. Взглянет — словно гвоздь в левкас вобьет. Особливо указывал Сильвестр мастерам на новую роспись царской Золотой палаты. Писали ее новгородцы старательно, а что писать и как — решал сам поп. На стенах изобразили молодого правителя, вершащим добрые дела: бедных вдовиц и старцев неимущих златом одаривающим, в воинских доспехах врагов одолевающим и сидящим на престоле судьей милостивым.

Митрополит Макарий не одобрял фресок, исполненных не по библейским заветам. Понимал старец,

что сии изображения для царя Ивана приуготовлены, дабы, взирая на них, государь брал примеры достойного жития.

Макарию не по душе был поп Сильвестр с его влиянием на царя, «Домостроем», видениями небесных сил — юродивым то под стать, а не дворцовому попу.

Царица, любимая Макарием по-отцовски, — до чего ж скромна и благочестива юница! — намедни сказала:

— Владыка, грешна яз, сердце мое не лежит к отцу Сильвестру, уж больно строжит он государя да на мя ополчается, учит покорству, велит с Иваном Васильевичем только по домашности беседовать, мол, «не твоего царицы разума государю советы подавать, помни: жена да убоится мужа своего, постись, избегай суесловия, займися рукоделием». Да разве то не обидно мне? Терпелива яз, но не попу над нами, царями, воеводить! — Она гордо вскинула голову.

— Како мыслишь, отче Макарий? Тебе, аки родителю, доверяю.

— Погоди, умница. — Митрополит дробно рассмеялся. — Погодь, вернется с победой над неверными государь, ты ему пожалься на попа. Да и мне сей провидец, — не сдержался Макарий, — поперек горла.

Только вышел владыка из царицыных покоев, как узрел Сильвестра, идущего неспешно по лестнице.

Сильвестр смиренно, по чину перед Макарием преклонился и сложил длани лодочкой.

— Благослови, святой владыка.

Пришлось благословлять во имя отца и сына и святого духа.

— До государыни путь держу, преосвященный, како она изволит себя чувствовать, хочу с нею о государе помолиться.

— Был у нее, сыне. Не беспокой царицу. Гряди с миром по иным надобностям своим, Сильвестр.

— Спаси тя господь, владыка! — Сильвестр перекрестился. — Коль уж дошел, возьму на ся грех: побеспокою царицу Анастасию Романовну, авось не прогневаешь, добра еси зело.

— Гряди отсюда, поп, сполнай архиерейскую волю.

Сильвестр пожал плечами: и чего старик сумасбродствует? Однако настаивать не стал, пошел обратно.

Макарий облегченно вздохнул — согнал настырного, а поп Сильвестр на улице подождал, пока не отъехала от крыльца митрополичья колымага, а затем снова, не спеша, зашагал ко дворцу.

Вставшей ему навстречу Анастасии сказал строго:

— Помолимся о здравии благоверного царя Ивана Васильевича, государыня.

— Молилась уже, отче, и с владыкою Макарием беседовала.

— Не ленись, царица, молитва очищает душу, она лучший лекарь нам.

— Говорю же, отче, молилась!

— Не супротивничай, государыня!

Анастасия крикнула боярине Мстиславской:

— Анна Петровна, приветь отца Сильвестра, вели девкам, чтобы употчевали чин чином.

— Сыт, государыня! Недосуг мне яства царские пробовать, о твоей грешной душе беспокоюсь. — И рассерженный Сильвестр, стуча сапогами, удалился.

КАЗАНЬ ПАЛА

1 октября 1552 года были взорваны подкопы под Казанской крепостью, а 2 октября после кровопролитного штурма Казань пала. Доблестные воеводы Михайло Воротынский и Александр Горбатый, а также князь Владимир Андреевич и молодые царские друзья, в том числе Андрей и Роман Курбские заслужили от царя и боярского совета золотые медали и земельные угодья. Сам Иван Васильевич принимал деятельное участие в войне, объезжал войска, распределял местонахождение полков. Присутствие молодого царя воодушевляло дворянские дружины.

Воевода князь Палецкий привел к Ивану Васильевичу пленного казанского царя Едигера и его семейство. Едигер, упав на колени, протянул к Ивану Васильевичу руки с мольбой:

— Пощади нас, могущественный царь царей! Не дай сгинуть в неволе, не позорь наш род.

Был Едигер в разорванном окровавленном шелковом халате, чалму с него сорвали, в его раскосых глазах прятался ужас.

— Несчастный! — Иван наклонился с седла к хану. — Неужто ты мыслишь сопротивляться такому войску, как русское! Сколько понапрасну погибло и моих и твоих воинов! Мы, христиане, милостивы — прощаю тебя. Окрестись и живи в моей земле со своими близкими без нужи и горя.

Едигер был окрещен под именем Симеона и получил в Москве дворец, слуг и землю.

Боярский совет просил царя остаться для завершения дел, но Иван не согласился — он жаждал увидеть царицу Анастасию.

Победа русских над ханом оторвала от Казани многие платившие дань народы — башкир, черемисов, мордву... Они добровольно присоединились к Москве и послали к Ивану заложников. О подданстве просили и ногайские князья. Царь ласково принял всех и обещал защиту и милость.

На обратном пути около Владимира Ивана встретил боярин Василий Траханиот с известием, что у царицы родился сын, — наследник престола, наречен Дмитрием в честь предка государева Дмитрия Ивановича Донского.

— Неужто сын? — Иван соскочил с коня и обнял Траханиота. — Счастье великое! — Снял плащ, подбитый кунницей, надел на посланца и подвел к нему коня. — Жалую, Василий, за добрую весть. Други мои! — обратился он к воинам, поднявшим кверху обнаженные мечи и восклицавшим: «Слава, слава!». — Скорейча в Москву, там будет пир великий и подыдем чашу за победу, за царицу и за царевича!

Москва встречала победителей торжественно. Жители в лучших одеждах вышли далеко за город. Царь на белом коне, в сверкающих воинских доспехах, под алым знаменем Нерукотворного Спаса ехал в сопровождении полководцев и вельмож.

В самой столице его ждали с иконами и хоругвями митрополит Макарий, епископы, первенствующие бояре — Михайло Иванович Булгаков, Иван Григорьевич Морозов, окольные, думные дьяки и дети боярские.

Царь обратился к ним со словами:

— Мы освободили тысячи узников и полонян, присоединили Казанское царство к державе Московской, царь их взят в плен. Исчезла прелесть Магометова, воеводы русские управляют казанской землею, а мы во здравии и веселии пришли в свою любезную отчину. Мы с князем Владимиром Андреевичем и со всем воинством в умилении сердца кланяемся вам, митрополиту и священству.

Иван, Владимир и воины поклонились.

Макарий троекратно осенил их крестом:

— Государь! Даровав победу, всевышний даровал тебе и вожденного первородного сына. Живи и здравствуй с добродетельной царицей Анастасией! Со младенцем царевичем Дмитрием! Со своими братьями, боярами и со всем православным воинством в царствующем граде Москве. А мы, государь благочестивый, за твои труды и подвиги кланяемся.

И все, кто стоял за митрополитом, упали на колени, кланялись, целовали руки и одежду Ивану, лбызались с воинами.

После утомительных поздравлений и приемов, оставшись наедине с Анастасией, Иван дал волю своей радости. Обнимал жену, благодарил за сына и все повторял:

— Настенька, свет очей моих, чем воздам ты за счастье?

Она, раскрасневшаяся, взволнованная, только и твердила:

— Ванюша, Ванюша! Царь и любимый мой!

В соседней палате сданный на попечение кормилице и мамкам младенец Дмитрий в нарядной колыбельке чмокал во сне, и стояла за цветными оконцами непроглядная хмурая ноябрьская ночь.

ЖАЛОСТЛИВАЯ ИСТОРИЯ

Царь Иван дорожил редкими вечерами, когда, отделившись от друзей с их настырными советами, от попа Сильвестра с его непрерывными поучениями, от Захарьиных-Юрьевых с просьбишками о землице и

наветами на семейство Адашевых, мог остаться наедине с Анастасией.

Анастасия не поучала, не конючила о родичах, не вспоминала о прежних Ивановых прегрешениях — только слушала и лишь иногда молвила слово, но такое, что царь его не забывал.

Ему шел двадцать третий год, а царица была еще моложе, и любили они друг друга крепко.

А вокруг были уставы, домострой, обычаи православные, и рушить их — не приведи господь! Разве поймут, разве простят...

— Свет ты мой, Настасьюшка, одна ты у меня, горлица сизокрылая! — говорил он задушевно. — Хочу быть на Руси единодержавным, без бояр, без их злоехидной смуты, зависти и корысти. Алексей правду молвит: хорош правитель — много от него добра служилым. Беда моя, Настасьюшка, что сир был, одинок, не учили мя Шуйские и Глинские править, а исделали рабом страстей своих грешных, и все же глядеть из чужих рук, хоть и добрых, — тяжко!

Царица успокаивала:

— Все минуется, Ванюша, травой порастет. Найдешь в себе силу — станешь единым на Руси и судьей и милостивцем. — Сказывала тихо, будто песенку напевала, и тепло ее голоса успокаивало Ивана.

После такой ночи держался он с друзьями избранной рады высокомерно, а те шептались:

— Видать, государыня на Ивана Васильевича хмарь наложила, ее ли дело в государские заботы влезать?

Данила Романович, когда встречался с сестрой, укорял:

— Ты бы, государыня-сестрица, не сама советы-то государю подавала, ты бы родичей поспрашивала, сообща-то поумнее бы чего надумали.

— Братец, — отвечала сухо, — не становись промеж мужа и жены, помни Данила: яз царица, а ты мне подданный.

— Прости, государыня! — Данила Романович отвешивал поклон и уходил бормоча: — Вот те и смиренница Настасья — вознеслась!

Из родни больше всего любила Анастасия брата Никиту. Всегда улыбчивый, добрый, умел он и развеселить и утешить и ее и царя.

— Не пойму Никиты!— Иван Васильевич недоумевал. — Все Захарьины вельможи дельные, а со всячинкой — грызутся с Алексеем и Курбскими, един Никита, аки блажной.

— Никитушка чиста душа. — Царица улыбалась. — Ты ему доверяй, Ванюша. Владыка Макарий зело похваляет его. Читает ему свою житейную книгу. Ежели, Иванушка, охота, послушай, что братец рассказал о благочестивых князе Муромском Петре и жене его Февронии*.

— Поведай, Настасьюшка. — Иван садился рядом, прикрывал веки и слушал с великим удовольствием.

— История жалостливая. В Муроме княжили братья Павел и Петр. Князь Петр избавил свою страну от поганого змия, но был укушен им. Ой, Ванюша, знаешь, что получилось: у Петра на теле струнья объявились, страшные! Простая дева, лекарка Феврония из Рязанской земли, излечила его, и Петр был обязан на ней жениться. Обещал, но не женился, отговорили бояре-злыдни. И снова заболел Петр, потому что слово не сдержал. И тогда он поехал к Февронии... Обвенчался с нею, полюбил ее крепкой любовью. Его соправитель Павел скончался, и стал Петр один княжить. Бояре негодовали на княгиню, «аки псы брешуще». И упросили ее покинуть город — князь-де выберет в жены себе боярышню. Уходя, Феврония сказала: «Господа бояре, дайте мне то, о чем напоследок попрошу». Бояре ответствовали: «Бери, чего хочешь». И Феврония указала на князя. «Сего Петра, мужа, хочу». Бояре согласились, имея надежду, что один из них сядет правителем. Петр и Феврония отплыли на корабле по Оке. А между боярами произошла свара: каждому князем хотелось быть. Горожане послали за князем и умолили возвратиться. Петр и Феврония снова начали княжить в Муроме. «Како чадолюбивые отец и мать всех равно любя». Была у них мечта умереть в один день и час, и заранее уготовили они себе гроб каменный с перегородкой — для двоих. Перед смертью в старости приняли монашество и скончались, как предсказали, в одночасье. И положили их

* Князь Петр и Феврония умерли в Муроме в 1228 г. и канонизированы на священном соборе при митрополите Макарии.

в гробницу, но бояре воспротивились: не по чину мужу и жене лежать вместе! Разлучили их, положив в разные гробы. Но, наутро пришедши, узрели их в одном каменном гробе. Дважды разлучали, а они, любящие, и по смерти вновь соединялись. И тогда муромский епископ повелел оставить их вместе. И плакал умиленно весь народ муромский и окрестный, созерцая сию дивную любовь.

Иван Васильевич не перебивал рассказ. Внимал. Переживал. Вздыхал.

— Чудо сие! — проговорил он. — Нам бы с тобой, Настасьюшка, тако прожить.

Она ничего не ответила, прижалась к нему, поцеловала в плечо.

КОМУ ПРИСЯГУ ЧИНИТЬ?

Завоевание Казанского царства и продвижение московских полков к Астрахани смутило и испугало крымского хана и его властителя — султана могущественной Турецкой империи.

Лазутчики из Крыма стали упорно сеять ложные слухи в казанских улусах о том, что московский царь заставит покоренных платить двойную дань, прикажет отобрать из них крепких мужчин и красивых девиц для продажи в рабство и повелит принять христианство. Начались восстания, нападения на русские гарнизоны. Царским воеводам пришлось смирять татар. И еще беда постигла русскую землю: в Пскове начала свирепствовать страшная моровая язва, которая уносила в могилу сотни людей. Болезнь захватила и Новгород. Архиепископ новгородский Серапион, оказывая помощь пострадавшим, заразился и умер.

И тут царь Иван тяжело занемог «огневою болезнью», настолько сильно, что лекари опасались за его жизнь. Он лежал в опочивальне и стонал от неимоверного жара. Анастасия не отходила от мужа, смачивала холодным полотенцем его лоб и плакала. Иван бредил.

— Целуйте крест сыну моему Дмитрию! — потребовал, когда пришел в минутное сознание.

Ближайшие бояре и Захарьины, исполняя его волю, решили привести к целовальной записи членов

боярской думы, знатных вельмож, князя Владимира Андреевича и его мать княгиню Евфросинию.

Владимир Андреевич в кремлевском дворце держался спесиво.

— Ты, сынок, — говорила Евфросиния, — теперича, ежели с умом дело повести, на престол воссядешь.

— Дерзаю, матушка. Юрий умом слаб, племяш Дмитрий в пеленках. Мне венец воспринять, коли Иван к святым отойдет.

Княгиня Евфросиния, хитрющая, созывала к себе многих бояр и дьяков, уговаривала всячески, милости сулила:

— Моему сыну нелицеприятно служите. Умрет царь — все перейдет царице и Захарьиным, вспомните, бояре, Глинских и Елену.

Позвала она к себе в палаты попа Сильвестра и говорила с ним ласково:

— Наставь, отче Сильвестр, людей на правду! Неужто ты, праведный муж, за пеленочника встанешь?

— Княгинюшка! — Сильвестр помахивал рыжей гривой, яко сияние исходило от его главы. — Конечно, ежели праведный господь призовет царя, то, мыслю, князю Володимиру престол по старшинству перейдет. Тако и друг мой Алексей Федорович Адашев с отцом и братьями мыслит.

Евфросиния благоговейно благодарила Сильвестра.

А на царской половине Захарьины толкались около Анастасии.

— Государыня, прикажи Воротынскому и Мстиславскому за боярами приглядывать, чтобы крамолы не вышло.

Анастасия не слушала братьев. Что ей до всего, коли не будет Иванушки.

— Уйдите за ради христа, не тревожьте болящего...

Боярская присяга была назначена на двенадцатое марта 1553 года.

ДВОРЦОВАЯ СМУТА

Анастасия и боярыня Анна Мстиславская вышли на заднее крыльцо двора. За ними служанки несли коровья с пирогами, жареной рыбой, калачами. Здесь

уже толпилась нищая братия: юродивые, слепцы с мальчишками-поводырями, уроды, пропойцы в лохмотьях, беглые монашки. Дух в весеннем влажном воздухе поганый, охранный бородатый стрелец и то нос в сторону воротит. На дворе снег грязный — как свинаячье месиво.

— Государыня! Царица милостивая! — лезли юроды на самое крыльцо.

Стрелец зычно:

— Не дави, голь! — И спихивал их грубо.

Анастасия и Мстиславская торопливо вытаскивали из короба пироги и клали в протянутые скрюченные руки.

— Молитесь, убогие, за болящего царя Ивана!

— Спаси Христос и богородица Ивана Васильевича! — крестились нищие. — Подай, государыня, копеечку, подай, приветливая.

Царица бросала в толпу медяки.

Когда раздача кончилась, Анастасия пошла к царю в опочивальню.

Иван бредил. Лицо худое, глаза ввалились, губы потрескались. Звал жену:

— Настенька, милушка, не оставляй меня!

— С чего же ты взял, Ванюша? Да разве могу я тебя, свет мой, оставить? — Нежно гладила по волосам. — Поправишься, государь, выхожу тя.

— Ваша царская светлость, отдохнули бы, нельзя так изнурять себя, — уговаривал лекарь-немчин.

А Евфросиния и Владимир не дремали. Вызвали из Серпухова свой удельный полк, учинили раздачу жалованья. Удельные воины, дворяне шумели:

— Постоим за господина князя Володимира Андреевича! — Задирали московских: — Служить-то пеленочнику будете, а? Кой стяг понесете? Данилы Захарына порты?

Москвичи держались стойко. Служить-то верой и правдой обещали царю Ивану, царевичу и царице.

— Смотрите, господа дворяне, не за те гужи держитесь!

Двенадцатого марта молодой боярин Воротынский приводил к присяге вельмож — накануне вечером крестоцеловальную грамоту подписали ближние бояре.

В опочивальне Иван Васильевич слабым дрожащим голосом сказал Анастасии:

— Кликни боярина Федорова.

— Тяжко тебе, Ванюша, растревожит.

— Кликни, Настасьюшка, другорядь прошу.

На дыпочках к царской постели приблизился чернородый боярин.

— Многие в роспись, великий государь, писались.

— А Володимир?

— Княже Владимир Андреевич и княгиня упорствуют. Скажу те, государь, говорили со мной бояре: Петр Щенятьев, Иван Пронский, Семен Ростовский, окольный Лев Салтыков.

— Что говорили?

— Дай бог веку долгого царю Ивану Васильевичу, а не то будет Захарьиных царство, и како служить малому мимо старого.

— Присягнули младенцу-то бояре?

— Вестимо, присягнули. Они, государь, только языками трепали, обижаются на Захарьиных — роду те невысокого, а остатние бояре старинного родословца.

— Ну, благодарствую, Иван Федорович, иди с богом. — Откинулся на подушки, задышал трудно.

— Яз, великий государь, помню, что ты меня из ссылки освободил, и от тя ничего не скрываю, верно служу и царице и царевичу.

— Ведаю то, иди.

Воротынский в палате громко выкликал по отчету вельмож, а дьяк читал крестоцеловальную запись.

Бояре, воеводы, окольные, думные чины степенно подходили к столу и гусяним пером ставили подпись, неграмотные выводили крестик.

Князь Владимир противился: я-де не подпишу, я-де не видел брата Ивана на одре, пустите меня к государю.

Данила Захарьин возражал:

— Ты, княже, и мати твоя не присягали царю, не допустим тя.

Поп Сильвестр зло глянул на бояр, не привык, чтобы перечили ему, власть имел посильней митрополчьей. Затопал сапогами.

— Кто дерзнет удалять брата от брата и злословить невинного князя Володимира Андреевича?

В палате бояре зашептались, косо глянули на Сильвестра. Сума переметная — поп! Государь жаловал его и Алексея Адашева, яко правителей. Они же в какую сторону дуют?..

Присягнувшие бояре не допустили Владимира к царю, уперлись.

— Присягай, княже, государю. Обещайся верой и правдой служить царю, царице и наследнику.

— Не будет того, царя Ивана хочу видеть! — кричал рассерженный князь.

В царскую палату слуги внесли кадиланицы смолистые с ладаном, дабы воздух очистить, — хоть и великородные вельможи, а от споров, будучи в теплых кафтанах, вспотели и надышали.

Тут к князю Владимиру приблизился его стольник Варфоломей Конякин, наклонился к его уху:

— Княже, московские вои окружили твой полк и оружие отняли — то приказ боярина Воротынского со товарищи.

Аж заплакал Владимир от досады. Заговорил:

— Яз государю слуга верный — и ему, и царевичу. Чать мы единого державного корня. Подайте крестоцеловальную запись.

Княгиня Евфросиния, узнав, что сын учинил присягу, шибко закручинилась. К ней пришли из боярской думы за подписью.

— Вынудили вы нас к сему, вынудили пристрастно.

Митрополит Макарий у себя на подворье держался мудро. Пока шли промеж бояр распри — молчал, воздерживался от осуждений; проведав же о присяге, zelo обрадовался, молебен отслужил о здравии великого государя. Служил взволнованно, со слезой.

И пришел день — заботами Анастасии и лекарей Ивану Васильевичу полегчало.

Было утро. Позднее мартовское солнце глянуло сквозь оконце опочивальни. Иван приподнялся на ложе. Во всех суставах легкость. Голова кружится, а не болит. Взглянул на бледную Анастасию, протянул руки к жене:

— Настасьюшка, жив еси!

Анастасия не выдержала — зарыдала. Васмеялась.
— Счастье-то какое, Ванюша!
— Принеси питье да пожевать чего.

ГОРЕ И РАДОСТЬ /

Царь поправился. Очухались от страха Захарьины. Улыбкой одаряла и знатных и простых царица.

Те, кто был против Ивана Васильевича, желал воцарения Владимира Старицкого, приуныли, делали вид, что рады выздоровлению, приветствовали царя подобострастно:

— Послал господь веселья нам, верным слугам. Дай бог Ивану Васильевичу многая лета! — А исподволь кляли: «Выжил, неугомонный, а то жили бы мирно и добро при державе Владимира Андреевича! Умом княже не ровня царю, зато милостив к боярам».

В мае 1553 года Иван захотел по обету посетить обитель Кирилла Белозерского.

— Настасьюшка, — сказал жене. — Бог спас мя, грешного, от смерти, след помолиться с младенцем у чудотворца.

— Твое дело, Иванушка, только боюсь — Митя мал, не выдержит поездки.

— Господь милостив — неужто младенца накажет?

Ближние бояре, опасаясь за жизнь царевича, уговаривали:

— Поберегись, великий государь.

Знаменитый ученый Максим Грек, освобожденный Иваном из тверского заточения и живущий на покое в Троице-Сергиевской лавре, посоветовал:

— Не езд, государь.

— Обет дал, отче.

— Государь, обеты неблагоприятные госуду богу неугодны. Супруга твоя юна, царевич груден еси, бог вездесущ — и в Москве услышит.

Иван Васильевич не послушался. Громоздкий поезд государя, государыни с наследником в сопровождении охраны, придворных, возков с милостыней и припасами выехал в Дмитров, где ждали украшенные коврами суда для речного плавания.

В Дмитрове царь посетил песножский Никольский монастырь на берегу реки Яхромы, там проживал прежний советник Василия Третьего старец Вассиан. Он когда-то был в сане епископа Коломенского и во времена боярского правления, отрешенный от епархии, уединился в монастырской келье. Вассиан Топорков, мелкопоместный дворянин, ярый противник княжат и вельмож, встретил молодого царя благословением.

— Ныне отпускаючи раба твоего, владыка! — воскликнул он.

— К твоей святыне, отче, за благим советом я. Научи меня, како жить и править.

— Твой, государь, родитель, блаженной памяти Василий Иванович, доверял мне, недостойному пастырю. Мудрый был государь Василий.

Вассиан поведал Ивану о своих тайных беседах с великим князем и затем тихо, чтобы ничьи посторонние уши не услышали:

— Помни, сыне, коли хочешь быть единодержцем истинным, яко от бога поставленный глава всем живущим в государстве, не учись у вельмож, а учи их, повелевай, а не слушайся. Будь на царстве грозою для бояр, не потакай им, сам решай. Карай их без боязни и не доверяй даже мудрейшим.

Беседовали долго. Царь слушал со вниманием то, о чем говорил старец. Было это ему как целительный елей на раны. Уходя, проникновенно сказал:

— Благодарю, владыка, сам отец мой не дал бы мне лучшего совета.

Реками Яхромой, Дубною, Волгою, Шексною побежали корабли к Кирилло-Белозерскому монастырю.

Сидя на палубе с Анастасией, Иван поведал ей о беседе с Вассианом.

— Правду молвил святой отец, — согласилась Анастасия. — Зачем тебе ум занимать у Олексея Федоровича али у попа Сильвестра? Двуличны они.

— Много от них и доброго было.

— Было да уплыло, Иванушка. За их службу ты Алексею сколь почета положил!

— И то правда, Настасьюшка. Из смрада на гору возвел. Федор — боярин, Алексей — окольный, братья — воеводы. Земли им отвел предостаточно. Вельможами сделались, в боярской думе заседают.

— То-то и оно. Вспомни, како Адашевы/себя показали при твоей, государь, болезни?

— Помню, токмо виду не показую. Пусть думают, что забыл, как шатнулись они к брату Володимиру.

В Кирилловской обители иноки встречали поклонами, богослужением, монастырскими трапезами.

На стол у игумена подавали рыбные яства: белорыбицу отварную, уху налиమ్ью, пироги с капустой и сметками белозерскими, квас сухарный и мед из подвалов.

Ивану монастырь полюбился благолепием церковей, крепкими стенами, рачительным хозяйством. Знали монахи счет копеечке и потачки трудникам не давали — те работали с утра до поздняя под иноческое наставление: работайте, православные, бог труды любит и невидимо воздаст.

Монахи показывали места подвигов преподобных Кирилла и Ферапонта, возили гостей в Ферапонтов монастырь, где Иван и Анастасия узрели чудную роспись Дионисия.

Июнь был теплый. Дули легкие ветерки, и стояли прозрачные вечера. Кругом леса, озера... После выздоровления грудь дышала вольно, и Иван был тих и светел душою. Глядя на него, и Анастасия чувствовала себя удовлетворенно и радостно.

Дальше — как во сне — непоправимое, царица не помнит — память затуманилась. Перед отплытием из Кириллова на Шексне, когда кормилица в окружении нянек и служанок несла на руках царевича, чтобы взойти с ним на палубу, сходни накренились — и она вместе с Дмитрием упала в воду. Кормилицу спасли, а когда вытащили младенца, он был уже мертв.

Горе, горе! Анастасия сомлела. Иван сам откачивал наследника и воспаленно оглядывал монахов и дворян.

Царица от горя занемогла, ничего не ела, от всего отказывалась. Иван, тронутый ее страданиями, утешал:

— Настасьюшка, не горюй сильно, бог дал — бог взял, на то его святая воля. Ты еще наследника мне дашь, помолимся чудотворцу.

Обратно возвращались на Ярославль. На день остановились в Троице, где у гробницы Сергия Радонежского оплакивали свою скорбь...

В Москве среди сторонников Владимира Старицкого разговоры:

— Бездетен вновь царь Иван, не благословил господь родительским счастьем.

Поп Сильвестр поучал Ивана:

— То, государь, на твое боже попущение, аки на Иова ветхозаветного. Смирять свою гордыню.

— Настенька,— по ночам лаская царицу, шептал горячо и требовательно Иван,— хочу сына, хочу...

И снова Анастасия почувствовала в чреве биение новой жизни. И хотя горе не забылось, все же она стала спокойнее.

К общему ликованию преданных царю дворян, приказных и воинов, 28 марта 1554 года Анастасия Романовна родила сына — здорового, крепкого и голосистого.

— Ну, Настасьюшка! — Царь опустился перед царицей на колени. Лицо его было настолько счастливо, что Анастасия, ослабевшая от родов, улыбнулась ответно.

— Ну, Настасьюшка! — повторил Иван.— Вовек тебе благодарен буду.

Крестить ребенка царь не поехал в Троице-Сергиевскую лавру — поостерегся дороги, совершил таинство в Москве в Чудовом монастыре 15 апреля. От купели младенца Иоанна принял митрополит Макарий, а крестил царский духовник протопоп Андрей.

Царь Иван был милостив и радушен. Разрешил отпустить некое число колодников, раздать нищим и увечным милостыню и угощать за государев счет в кабаках и на улицах вином и пирогами народ московский.

И еще в честь победы над татарами царь указал заложить у Флеровских (Спасских) ворот церковь Покрова богородицы, храм дивный и необыкновенный, русских зодчих детище, что стал зваться храмом Василия Блаженного.

КНЯЗЬ-ИЗМЕННИК

Князь Симеон Ростовский целовал крест Ивану Васильевичу, но все время боялся: узнает государь о поносных речах, что вел он промеж бояр за Влади-

мира Андреевича — осерчает зело. И решил Симеон податься к королю Литовскому, имея надежду на почетный прием у литовских панов. Переступил князь законы Русской земли — через холопов пересылал потаенные письма в Литву, сообщал тайны государственных, о которых ведал, будучи в составе боярской думы. То была измена великая, и когда дозорные стрельцы на погранице задержали Симеонова родича князя Никиту Лобанова и, допросив, выведали о злых кознях князя Симеона, то дали знать о них в Москву.

Там князя Симеона взяли под стражу, и он добровольно сознался в изменных умыслах. По малодушию плакал: «Сотворил зло, скуден умишком. Государь великий, прости мя!»

Созвали боярскую думу. Дьяк Михайлов зачел вины Симеона Ростовского. Бояре Петр Щуйский, Владимир Воротынский, Данила Захарьин, Иван Федоров первыми высказались кратко: «Изменнику — казнь».

Дума приговорила: «Князя Симеона Ростовского лишить боярства, выставить на позор и четвертовать».

Когда дьяк Михайлов объявил преступнику о казни, тот лишился сознания. Тогда ему вылили на голову ушат воды.

— Умел воровать Симеон, умей и ответ держать, — сказал сухо Михайлов. — Какова твоя последняя воля?

— Умоли, дьяче, отца Сильвестра меня исповедать.

Сильвестр долго корил князя, бил по щекам.

— Нечестивец, страдник окаянный! — Под конец сжалился: — Ин ладно, пойду докучать Ивану Васильевичу, дабы смягчилось его сердце.

Сильвестра царь принял хорошо.

— Государь, — поп заговорил проникновенно, властно, зная, как его слова действуют на Ивана. — Яви милость к овце заблудшей — бывшему князю Симеону.

— Это Симеон овца заблудшая? — царь хмыкнул.

— Да, государь, заблудшая...

— Не дали ему мои стрельцы в Литве заблудиться.

— По христову завету прости, Иван Васильевич, — повысил голос Сильвестр.

— Ладно-ть. Меня и царица просила, жалостлива больно Анастасия Романовна.

Иван вызвал дьяка Михайлова и велел четвертованию преступника не подвергать, выставить у позорного столба, наказать плетьюми и сослать на Белоозеро.

И привезли князя Ростовского, потомка удельных государей — вот стыдобушка-то! — на торжок. На деревянном помосте — черный позорный столб. Симеона втащили на помост каты с гиком: «Не спотыкайся, кляча!» Привязали ремнями сыромятными, сдернули шелковую рубаху, обнажили князю спину и дряблые ягодицы.

Народ теснился у помоста.

— Не все нашему брату достается, — поучающе говорил старик ремесленник, — вишь и князьему хребту попадет по малости. Бежать хотел, измену замышлял!

— Каюсь, православные! — взвыл Симеон. — Грешен — бес попутал окаянного!

Лето, жара, солнце нещадное. На выцветшем небе ни облачка. Тут и квасник с кружкой и бочонком на тележке: «Вот квасок, ударяет в носок!»

Подъячий в коричневом кафтане вычитывает вины князя Симеона.

Кончил читать. Свернул грамоту, положил за пазуху и старшему кату:

— С богом начинай!

Старшой подошел к наваленным на помост плетям, взмахнул одной в воздухе — не понравилось, взял другую.

— Держись, ожгу! — Да как двинет по княжьей спине.

— Пощади, кормилец! — У Симеона глаза на лоб выкатились, на теле красная рваная полоса. — Пощади!..

Когда кончилось наказание, полумертвого князя положили на телегу. Путь предстоял долгий, канительный, северный...

ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ

К царице, звеня веригами под серой холщовой рубахой, забежал Василий Блаженный, и стрельцы кремлевские и дворцовые жильцы беспрепятственно

пропустили старика. Был Василий почтен всенародным признанием за праведную жизнь, за дар пророчества, за доброту к людям. Никто и пальцем тронуть его не смел.

Даже суровый Василий Третий снисходил к нему разговором и ласкою. Правительница Елена смиренно выслушивала его. Зимой и летом он ходил босиком, не смущаясь расстоянием: и в Москве, и в Троице, и в Вологде, и в Новгороде. Завидя Василия Блаженного на дороге, всякий проезжий подвозил его к требуемому месту.

Народ разукрасил житие Блаженного небывалыми чудесами. Видели его в Новгороде плачущим и обнимающим косяк боярского дома, где шло веселье.

— О чем тоскуешь, Василий — вопрошали.

— Смотрю в окно и вижу — сидят хозяин и гости без голов.

И проходило некое время — открывался заговор против великого князя Московского, и казнили тех пировавших.

Один щедрый московский вельможа уговорил Василия в лютый мороз взять в дар хорошую шубу на лисьем меху.

— Возьми, батюшка Василий, от искреннего сердца дарю.

Василий надел шубу и побежал по улице. Двое веселых молодцев, узрев Блаженного в богатой шубе, вздумали обмануть его. Один лег на снег, а другой закричал:

— Замерзает парень, пожалей его, Василий.

— Так ли? — спросил остановившийся Блаженный.

— Так истинно, — ответил парень.

Василий снял с себя шубу, покрыл ею лежащего и побежал дальше.

Молодец стал поднимать друга, а тот уже мертв.

Рассказывали еще, что когда молодой царь Иван молился в Успенском соборе, к нему подошел Василий.

— Иванушка, сколь зайцев затравил? Вижу, миленький, твои мысли не о боге, а об охоте.

— Како узнал, Василий? — спросил царь. Он и взаправду о новом соколе помышлял, дабы его испробовать на лету.

Думный дьяк Иван Михайлович Висковатый, начальник посольского приказа, настолько верил Василию, что по его прошению дважды освобождали из уз невинно осужденных.

Митрополит Макарий уговаривал Василия принять иночество, обещался посвятить в иерейский чин, дабы жил он у него в Чудовом монастыре в теплой келье.

— Ты уже в годах преклонных, захвораешь, кто за тобой уход чинить будет?

— На кой ляд мне монашеский клубук? Не достоин сего чина. Меня, владыка святой, всякий христианин успокоит. — Чмокнул владыке руку — и на улице, заскакал весело, аж у владыки на душе потеплело.

— И то, — сказал Макарий, — пущай на воле прыгает, воробушек веселый, божья тварь.

Анастасия обрадовалась приходу Василия.

— Здравствуй, батюшка дорогой! Радость-то тебя лицезреть.

— Како здоровьишко, Настасьюшка, царица благоверная?

— Твоими молитвами, батюшка.

Василий взял ее руки. На пальцах кольца яхонтовые. В ушах сережки золотые, жемчужины с горошину.

— Я тебе, милуша, серебряное колечко принес со камушком янтарным. — Достал из пестрядинной сумы тонюсенькое с янтариком посерединке колечко. — То из моря Варяжского, из пределов литовских. В лавке у купца выглядел. Носи на счастье, янтарь те предскажет: янтарь да бирюза камушки-то вещице. Дай-кось пальчик-то. — Примерил: на средний как раз пришлось колечко.

Анастасия покраснела.

— Благодарю, Васильюшка. Пойдем. Взгляни на сына Ванюшу.

Боярыня Мстиславская, верная подруга царицына, такая же молодая, но станом пошире, радушно встретила Блаженного.

В колыбельке лежал царевич, крупный, краснощечный, волосом рус, синеглаз. Склонился над ним Василий, пальцами козу сделал. Ребенок гукнул, в улыбке сморщился. Царица и боярыня перекрестились.

— Слава те, господи!

— Пузырь-богатырь, — пропел Блаженный. — Здоров будет, меня переживет, тебя переживет, Настасьюшка.

Заторопился.

— Духота-то у вас в палатах, и как вы, цари и бояре, такое терпите?

— Покушай чего, Васильюшка, — упрасивали женщины. — Не обижай хозяев.

— Ин ладно. Кваску да пряничек печатный подайте.

Выкушал.

Анастасия вынесла пригоршню медяков, знала, что серебра не возьмет.

— Батюшка, милостивец, раздай убогим.

Взял. Положил в суму.

— Прощайте, родимые. — И заскакал, махонький, седенький, волосы, аки пух.

АНГЛИЧАНЕ В МОСКОВИИ

Царя Ивана современники иностранцы похваляли за образованность. Унаследовав от деда библиотеку редких рукописных книг, он утешался и находил в них сведения из истории Византии, хронографы, переводы из Светония, эллинские и римские летописи, историю Иудеи Иосифа Флавия, сочинения Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина и отечественные сказания... Книги, крепко переплетенные в кожу, были писаны искусными переписчиками-художниками, украшены киноварью, затейливым орнаментом.

Анастасии нравилось, когда муж делился с ней знаниями или оспаривал начитанного вельможу. Знаменитый дьяк Висковатый как-то при Анастасии назвал Ивана светочем книжной мудрости, и слышать такое от умнейшего человека было приятно и царю и царице.

Однажды Иван купил за большие деньги книгу, «Пчела» именуемую. В ней — изречения не только из священных книг, но и мысли писателей греков и римлян: Аристотеля, Диогена, Сократа, Плутарха, Овидия, Эпикура.

— Смотри, Настасьюшка, коль дивна сия книга.— Он бережно ее перелистывал, и царице казалось, что его пальцы ласкают книгу.

Случайно из-за бури корабль английского капитана Ченслера пристал на Севере, у отдаленного монастыря святого Николая (впоследствии там был построен город-порт Архангельск), и это положило основание длительным дружественным отношениям между Москвой и Лондоном. Царь милостиво принимал капитана и его товарищей, расспрашивал о Британии и показывал свои сокровища и библиотеку.

В Англию от царя послали вологодского дьяка, умного и начитанного Непею Иосифа Вологжанина. В Лондоне королева Мария и ее муж король Филипп чествовали Непею как высокую особу.

Английские купцы начали отправлять на Русь и корабли, и товары, и уважительные послания царю Ивану от королевы Марии. В Холмогорах, в Архангельском городке, в Вологде купцы построили дома и склады. Иван, польщенный вежливостью и почтением англичан, по просьбе королевы выдал им грамоты на льготы и на беспошлинную торговлю. Англичане привозили сукна, пряности, сахар, украшения, а скупали пеньку, лен, лес, меха и моржовую кость.

— Вишь, Анастасьюшка! — говорил Иван. — Наши-то бояре вотчинники и монастыри обижаются на мя за поблажки купцам аглицким, прозывают не русским, а аглицким королем. А торговать мне надоть не только через Холмогоры и Вологду, но и здесь, у открытого моря, где наш Орешек крепко стоит, чтобы московские купцы без посредников выгоду имели. Мне Нарва и Ревель ливонские для сего надобны.— Замолк, поглаживая рыжеватую с чернью бородку.

О ЧЕМ ДУМАЛ АДАШЕВ

Царя в эти годы волновали и набеги крымской орды хана Девлет-Гирея, отражаемые полками Шереметьева, и дела ливонские.

Ливонский магистр, Литва, Швеция, Дания делали все возможное, чтобы не пропустить на Русь иностран-

цев докторов, инженеров, строителей, ученых, считая, что возвышение могучей Московской державы большой ущерб для них.

Иностранная торговля на западе Руси шла через Новгород Великий. Шведский король Густав Ваза, обеспокоенный дружескими связями Англии с Москвой, в своих посланиях королеве Марии плел всякие небылицы о Руси. Шведы беспокоили русские границы у Финляндии, неоднократно нападали на Орешек. Ливонские рыцари и польско-литовские магнаты хозяйничали в Прибалтийских землях.

Алексей Адашев и поп Сильвестр противились ливонским планам молодого царя, убеждали боярскую думу, что православной Руси дорога предназначена в Азию, дабы туда свет христовой веры проник.

— Великий государь! — Адашев прикладывал руку к сердцу. — Глянь на Восток — держава твоя, имея Казань и Астрахань, дошла до царства Бухарского, купцам московским есть с кем торговать, куда караваны направлять. В Сибири Строгановы великую прибыль себе и Руси приносят. Одно богом предназначенное дело тебе, государь — Крымского хана покорить, сколь от него обмана и разорения русским людям!

Алексей Федорович Адашев видел и переживал остуду государеву. Не тот Иван Васильевич! Говорит как бы ласково, а глаза царские так и пронзают недоверием, а за что, за что? Видит бог, не щадит Алексей Федорович своих сил для блага Руси. Тысячи дворян им облагодетельствованы. Сколько они получили привольных земель в Поволжье, в казанских угодьях! А сколько труда вложено в устройство ратное и земское! А приказы? Ранее в них лихоимство и неразбериха и всякая неправда творились. А ныне? Упорядочили он и Висковатый приказы — любо-дорого! На что гневается, державный? Ежели он, Алексей, своим родным чины и воеводства роздал, так они же пользу государству приносят. Ну, конечно, землицу у мужиков прихватили, богачами слынут... Ах, не было бы Захарьиных — все ладно бы, Захарьины-то царицына родня, сущие, прости господи, злыдни, особливо Данило Романович. Царица Анастасия нравом тиха, незлобива, а поглядишь — царь-то под ее дудку пля-

шет. Ранее царица к Алексею благоволила, а опосля болезни государевой в сторону повернула.

Шел к себе Алексей Федорович в палаты. Хорошие палаты, и слуг и всего в достатке. Сняв служебную одежду, надевал затрапезный кафтан и спускался в подклеть. Содержал там Алексей Федорович болящих язвами нищих. Из сердоболия сам кормил их. Ноги в струпьях своими белыми ручками в лохани обмывал.

Приятель Адашева князь Андрей Михайлович Курбский, заходя в гости, умилялся.

— До чего же ты, Алексей, милосерден! Не видал такого. Вельможа, правитель, а, яко последний из холопов, нищим служишь.

Сам князь Курбский и помыслить о себе такое не мог. Посему говорил про Адашева в боярском кругу: «Милосерд, аки ученик Христов!»

Бояре посмеивались в бороды.

— Алексей-то по роду и племени далеко от смердов не ушел, ему с ними возжаться в самый раз!

ЦАРСКАЯ ТЕТУШКА ЕВФРОСИНИЯ

Когда царь уезжал в походы против крымчаков, Анастасия грустила, запиралась у себя в покоях и, кроме сына-наследника да брата Никиты Романовича, никого видеть не хотела. Конечно, ежели посещали ее митрополит Макарий или Василий Блаженный, принимала их, утешаясь беседами. И всегда большой пушистый кот Абдулка, сибиряк, с густой шелковистой шерстью, лежал на бархатной скамеечке у ног царицы и рассматривал проходящих немигающими зелеными глазами. Глаза у кота были раскосые, и казалось, что Абдулка над всеми насмехается.

Приехала и царская тетка — княгиня Евфросиния, привезла в подарок вышивание узорное. Мастерница на рукоделие была она знатная, садилась за пяльцы и между делом всякие сплетни языком плела.

— Муженек-то твой, племянюшка, молод ишшо и на женскую плоть яр. Бают, в шатер походный к себе непотребных девок водит.

— Напраслина то, тетушка,— возражала царица.
— Государь не таков, закон соблюдает.— А сама бледнела, и сердце перебоями стучало в груди.

— Все может быть.— На вышивальном платке княгини узор диковинный.— Все может быть.

И опять тишина. Пальцы Евфросинии проворно вытягивают золотые нити.

— Покойный-то твой свекор — великий князь Василий Иванович тоже охоч на любострастие был. Первую жену Соломонию в монахини постриг, а младшеньку Елену взял. Грят сказку, что Соломония не праздной тогда осталась и ребеночка в женской обители родила.— Перекусила крепкими зубами нитку.— Таки-от побасенки про государя Василия сказывают.

— Что же ты это, тетушка,— рассердилась царица, — все речи держишь поносные, на государя, мужа мово, да на свекра? Аль мы вам, Старицким, поперек горла стали?

Перед княгиней Евфросинией предстала властная государыня, и тетушка до того уязвилась, до того озлобилась, что и слов лишилась. А тут еще боярыня Мстиславская (ее ли дело-то?) встряла:

— Негоже, княгинюшка, в гостях тако, негоже, чать государь Василий твоему Владимиру Андреевичу дядей приходился.

Евфросиния наконец обрела голос, вскочила со скамьи мягкой, аки молоденька, оглядела гневно царицыну палату.

— Ты мне, Анна, государыне удельной, исконной княгине, таки слова молвила? Молчать ты должна, коли аз с царицей речи веду, выйди вон, смутьянка!

— Никуда Аннушка не выйдет, она боярыня моя ближняя.

Царица подошла к Мстиславской, обняла ее за плечи.

— Ой, племянка!

Евфросиния пошла к двери.

— Видать, кровь-то худая — Захарьиных тебе в голову ударила.

В прихожей горнице княгиня кликнула своих прислужниц:

— Собирайтесь, девы, у молодой царицы, знать, ум за разум зашел, неча нам тут боле прохладяться. Девы заохали, подхватили с бережением Евфросинию под руки и к возку княжескому проводили...

Москва жила беспокойно. В Стрелецкой слободе готовились к походу. То один, то другой полк под причитания жен — умели стрельчихи причитать пронзительно жалобно — отправлялись на Ливонскую войну или на ближние рубежи для оберегания столицы от крымского хана.

У Спасских ворот на Красной площади шумно, дымно, чадно. Строили церковь Покрова*. Строили сотни каменщиков, плотников, согнали для черной работы сидельцев острожных под стрелецким присмотром. И возвышалась в лесах церковь на удивление москвичам и гостям иноземным, ибо нигде, не то, что на Руси — на всем божьем свете не было такой воистину чудной, прихотливой, невиданной и незнаемой церкви. И суетился тут же, поднося кирпичи, Василий Блаженный, и там, где он трудился, работа шла веселее, спорее.

Выкладывались из глазурного кирпича башенки, витиевато, на восточный лад крылись купола, извивались разноцветными змейками узоры на стенных проемах.

Царица иногда выезжала в возке, любовалась из слюдяного оконца на постройку и недоуменно спрашивала Мстиславскую:

— На что, Аннушка, сей храм похож?

И та, покоренная красотой, отвечала:

— То, государыня, яко песня вседержителю.

— Яко песня! — соглашалась Анастасия. Она откидывалась на подушки, кашляла. Кашель был сухой, гнетущий.

— Опять занедужила, государыня, — тревожилась боярыня. — Ужо велю подать тебе медового питья на зверобое и ивановой траве настоенного.

Анастасия страдала. Она родила царю Ивану шестерых детей. Царевны умерли в младенчестве, Дмитрий утонул, и остались царевичи: Иван и Федор. Иван подрастал здоровым, бойким, смышленным, а Федор был болезнен и хил.

* Впоследствии — храм Василия Блаженного.

Анастасия страдала и от своей болезни, и от непостоянства царя Ивана. Он огорчался, видя укор в глазах жены, но ездил к податливым на ласку молодым дьяческим да дворянским женкам.

Любил Иван жену безмерно, был нежен и предупредительнее всякое желание царицы, но ничего со своим нравом поделаться не мог — не мог, хоть убей на месте, хоть предавай церковному покаянию.

ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА

В Ливонии московские полки одерживали победу, и это тревожило Польшу, Литву, Швецию, Данию, которые всячески воздействовали на крымского хана, дабы шел на Москву, посылали ливонскому магистру отряды наемников, а в Москву — посольства для мирных переговоров.

Ливонские дела. Крымские дела... Английские дела! Англичане цепко ухватились за Север. Их склады на пристанях от Мурмана, Архангельского городка и до Вологды ломились от товаров.

Вологда, где уже были немчины и фрязины, где и местное купечество охулки на руку не клало, становилась богатейшим и влиятельнейшим городом на Руси.

Царь Иван Вологду жаловал, добр был к купечеству, вологжане это видели и перед другими городами заносились, спесивелись: мы-де у царя на примете... Мы-де теперь не лыком, а кушаком подпоясываемся.

Ливонская война складывалась удачно для Руси. Дворянские и стрелецкие полки воеводы Алексея Басманова из Иван-города (а было их у боярина маловато) неожиданно и нежданно для ливонцев ударили по Нарве. Крепость не выдержала стремительного натиска русских и сдалась. За Нарвой последовал Дерпт (Юрьев), взятый воеводой Петром Ивановичем Шуйским, мужем храбрым и политичным, сумевшим расположить к себе дерптских жителей и магистрат. Ливонский орден оказался перед разгромом, но спасся, потому что в боярской думе возникли споры и несогласия — лаялись вельможи. Выиграли сторонники Алексея

Федоровича Адашева — противники похода в глубь Ливонии: «Неча залезать в неметчину, своих исконных земель хватает, надо оберегаться от крымского хана, туда поход снарядить». Настояли адашевцы на перемирии с Ливонией с мая по ноябрь 1559 года. Настоять-то настояли, да были обмануты: ливонские рыцари, воспользовавшись перемирием, вооружились, Ливонский орден признал верховную власть Литвы и Польши. Затем магистр нарушил договор и рыцари с наемниками ударили по московским полкам, нанеся им поражение.

То, что можно было взять малой русской кровью, потребовало крови большой.

Снаряженный по совету Адашева поход в Крым пользы не принес, а казны потрачено было много.

Иван ругательски пенял Адашеву:

— Послушался тебя, слугу нерадивого! Твои да поповские советы поперек горла мне, отыдите от меня, худородные!

Это был конец правления Адашева и его присных. Напуганный падением Адашева, поп Сильвестр слезно просил царя отпустить его для пострижения в монастырь. Царь согласился, и Сильвестр покинул столицу. Умер он монахом в Соловках.

Вскоре наступил перелом в Ливонии: король Август из Кракова не очень-то помогал ордену, и вновь московские полки одерживали в трудных битвах победы.

Похвалили храбрость князя Андрея Михайловича Курбского, ласкали и награждали его, и никто не предвидел в нем будущего ненавистника и изменника Руси.

— Настасьюшка, светик мой, — рассказывал жене Иван, — устал я от дел государевых, не на кого надею возложить. Брат твой Данила, Басманов, владыка Макарий... А кто еще? Ты незамогла, ум теряю, о тебе мысля, поправляйся скорейча.

— Не кручинься, Иванушка. Будешь ты в спокойе и здравии — и яз поправлюся. Придет весна — к Троице поедем. Что же касает Олексея Адашева да отца Сильвестра — бог им теперь судья.

— Не права ты. Господь пуцай на том свете их судит, а в Москве яз им судья за их неправду, за гордость, за непокорство. Много, Настасьюшка, мы

урана в Ливонии понесли. От замысла свою не отри-
нись. Буду для Руси добытчиком. Нам Ливония во
как нужна, пойми.

Анастасия устало прикрыла веки.

Иван прикоснулся губами к ее челу и тихо вышел
из опочивальни.

Боярыням, кланявшимся ему рабски, сказал су-
рово:

— Худо бережете царицу, с вас спрос, коли чего...

Не договорил, быстро вышел, унося тоску в серд-
це: «Настасьюшка, голубушка, блудник яз грешный,
господи, не наказуй за мя невинную».

СКОРБЬ МОЯ ВЕЛИКА

Скончался Василий Блаженный. Перед смертью
его навестила царская семья. Простился Василий с
ними ласково. Погладив по головке хилого большено-
сого Федора, предрек:

— Будешь царем миролюбивым. — Анастасии ска-
зал: — Не плачь, государыня, увидимся.

Положили останки Василия под спуд нового храма
Покрова.

Осень 1559 года Анастасия с детьми провела в
Можайске спокойно, не то что в Москве. Погода стоя-
ла тихая, благостная. Выезжала царица в лес отдох-
нуть и в шатре на сосновом воздухе спала, не чувствуя
ни болей, ни одышки. Иван радовался — поправ-
ляется царица. Лекари-немчины лопотали: «Гут,
гут».

В октябре подули ветры холодные, и здоровье
Анастасии пошатнулось — и опять кашель и по ночам
пот, и сердце — до чего же нудило сердце!

А в ноябре дороги так развезло, что до Москвы
«неможно ни верхом, ни в санях... И се грех ради на-
ших царица недомогла», — указывала летопись. Толь-
ко в декабре наст окреп, и царская семья вернулась в
столицу. И опять Анастасии полегчало, даже подни-
малась в верхний терем любоваться полетом стаи
белых царских голубей. До чего ж высоко вздымались
в небо птицы и кружились белым жемчужным оже-
рельем.

Весна и лето 1560 года прошли в царских палатах в благополучии. Царица выходила в сад, и легкий румянец окрасил ее щеки. Иван как бы заново переживал влюбленную юность. Забывал и войну и дела, ему бы только быть поближе к царице. Июль был настолько жаркий, что даже выходить из хором не хотелось.

17 июля на Арбате загорелся двор служилого князя Пожарского. Вспыхнули пламенем церкви, занялись огнем целые кварталы. Два дня бушевал пожар. Царь Иван, князь Владимир, дьяки и стрельцы не щадили своих сил: водой, баграми, топорами тушили, сбивали пламя, стояли в огне заслоном. И к двадцатому июля пожар затих.

Испуганная, дрожащая Анастасия с крыльца смотрела на пожар и молилась. И вдруг опустилась без чувств на руки прислужниц.

Больше царица уже не вставала с постели.

Иван в отчаянии не отходил от Анастасии. Сидел рядом с женой, держа ее бледную руку.

Анастасия утешала его. Подзывала Мстиславскую:

— Аннушка, бедным и увечным кормы раздавала?

Та плача:

— Раздала, государыня, каждый день раздаем.

Иван умолял лекарей:

— Спасите царицу, озолочу!

Те только цокали языками и пожимали плечами.

Приняв причастие от Макария, простилась с детьми, братьями и боярынями и в пятом часу пополудни 7 августа тихо отошла в иной мир.

Лицо ее было прекрасно. И те, кто видел его, не мог удержаться от умиления и печали.

Отпевал Макарий. Когда произнес: «Во блаженном успении вечный покой и вечная память», — заплакал горько. Стоял на амвоне и плакал.

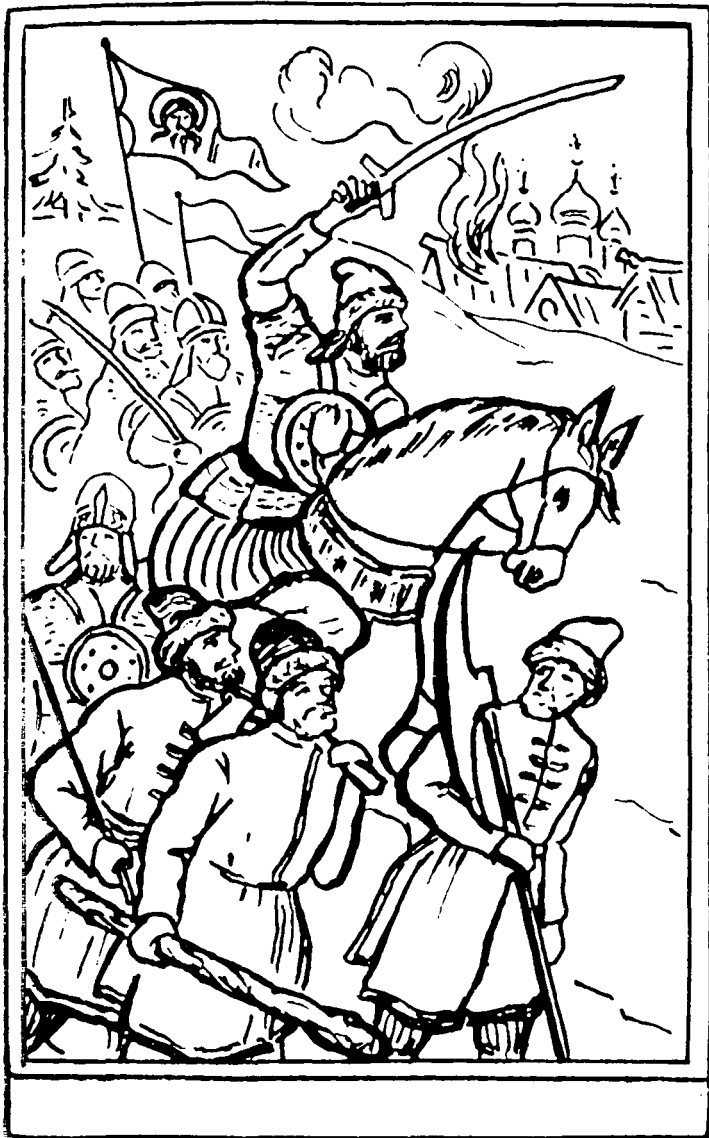
Хоронили Анастасию, первую царицу московскую в Вознесенском девичьем монастыре. Народ заполнил все улицы, не давая дороги траурной процессии. Нищие отказывались от милостыни: бог с нею, с милостыней.

Обессиленного царя Ивана вели под руки.

— Дайте умереть рядом с нею, — обливаясь слезами, просил он. — «Скорбь моя велика, и яз изнемог». — И тут же, вспомнив ясно, как рассказывала Анастасия ему о деве Февронии и князе Петре, еще горше зарыдал. Его успокаивали:

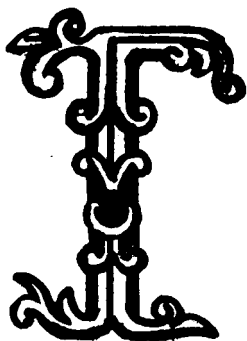
— Не забывай Руси, о сынах своих, о людях московских.

Громогласно изливала печаль медь колоколов. Августовское солнце золотило купола храмов, и кружились над Кремлем царские белоснежные голуби, от полета которых у Анастасии в недавние дни замирало сердце.



ЛИХОЛЕТЬЕ

1. ЦАРСКИЙ ИЗОГРАФ АРЕЕВ



РИГОРИЙ Антипов сын Ареев каждый раз, выходя из своего подворья, поворачивался к солнышку, широко крестился двуперстием и, не торопясь, шел из верхнего посада к детинцу. Человек уже в годах, он носил синий грубого сукна кафтан, подбитый заячьим мехом, и такой же треух, сапоги юфтовые, мягкие, при ходьбе неслышные. Черная с проседью бородка аккуратно

подстрижена, глаза быстрые, карие, благожелательные.

Было погожее сентябрьское утро нового, 1601 года, беспокойного, неурожайного, голодного.

Семнадцатый век начинался тяжело, скорбно начинался.

Богу душу отдал пресветлый царь Федор Иоаннович, смиреннейший из всех государей московских. Ушла в Новодевичий царица Ирина Федоровна. Патриарх Иов созвал земский собор, где был избран на царство боярин Борис Федорович Годунов.

Шел Григорий Антипыч, и невеселые думы тесни-

лись в его голове: будет ли счастье державе при новом царе, которому сам с вологжанами присягал на верность?.. Будет ли?..

В думах дошел до детинца, к нему примыкали посады, где жили ремесленники, торговцы и служилые люди. Детинец — собственно город (его царь Иван Васильевич перенес с Ленивой площадки вниз) — имел форму четырехугольника, северную сторону которого составляла река Вологда (до чего широка, с зелеными берегами, купами деревьев и рощами), восточную — малая речушка Золотуха, заросшая тиной, куда жители сваливали всякую требуху (Золотуху еще при Иване Третьем выкопали пленные татары из Золотой Орды), южную и западную сторону детинца образовали стены, частью каменные, частью деревянные, называвшиеся крепостью, острогом. Стены имели несколько деревянных и каменных башен с переходами и проездными воротами: Пятницкую, Благовещенскую, Софийскую, Ильинскую.

Софийские ворота вели к архиепископскому подворью и к соборному храму Софии, главному храму земли Вологодской.

Всякий раз, проходя мимо Софии, Ареев останавливался с почтением, удивляясь дивной лепоте создания рук человеческих. Видал Григорий Антипыч и Новгородскую Софию — и преклонял колена, и Успенский собор в Москве — не похаеть, чудный собор, и все же София Вологодская была для него милее всего.

Да о чем толковать, Григорий в молодости видел, как строили сей храм, самого Грозного лицезрел в окружении черных опричников. И теперь еще деревянный дворец царя стоит поодаль.

Тогда Вологда — город опричный, который хотел Иван Васильевич украсить и обезопасить, — кипела в работе: сотни крестьян и мастеровых возводили крепостные стены, обжигали кирпич, месили глину. Кормились плохо, голодали, болели, умирали. На двор к Арееву приходили женки с детьми, плакались: «Ради Христа, корочку хлеба!» Ах как тяжело было глядеть на них! Мать выносила в горшке остатки просяной каши и репу: примите во упокой душ родительских. Ну а тех, каменных дел мастеров, что кладку клали на соборное и крепостное строение, царь мило-

вал, кормил и денежную дачу жаловал, в посты телячью убойню и квас дозволял и шутейно прозвал «вологодские телята», так и сохранилось за вологжанами прозвище «телят». Крепость была освящена в день пророка Иасона 28 апреля. И в песнях Насон-град прославлялся.

Помнит Григорий Ареев, как судачили вологжане о неожиданном отъезде Ивана Грозного из Вологды. Говорили, что когда царь вошел в Софию, на его голову упал кусочек кирпича или извести. Тогда государь опечалился и велел церковь разорить, но «через некоторое прошение преклонился на милость». Да, умолили Ивана Васильевича слезно, и уехал он в Москву.

А София осталась. Вот она перед глазами: белокаменная, с пятью тяжелыми луковицами — главами на мощных шеях. Перекрытие изящное, замарное, а величественные порталы с разноцветными поясками открывают вход в храм. София царит над рекой, над широкой площадью, над епископскими строениями. Она олицетворение силы горожан, она — Вологда.

Ареев идет по городу. Ему надо зайти в торговые ряды, купить краски, шпаклевки, холстины, но, кажется, Григорий забыл об этом.

А над зеленым деревянным городом, где по бревенчатому настилу ветер несет порыжевшие листья, над купеческими домами с затейливой резьбой по наличникам и по фасаду раскинулась выцветшая синь неба и в предчувствии холодов, дождей и невзгод пронзительно кричат галки на крестах церковных колоколен...

Почти у самых торговых рядов Ареева остановил выскочивший из грязного переулка, где помещались постоялый двор и царево кружало, босой, лохматый, в длинной рваной рубахе, под которой железные вериги, Иван Большой Колпак — почитаемый народом юродивый. В правой руке у него был посох.

— Дядя! — закричал тонко, требовательно: — Дай грош, а мя не трожь! — и засмеялся с захлебом.

Ареев подал юродивому полушку. Тот подбросил монетку на заскорузлой ладошке.

— Не узнал тя, Антипыч! Богатым быть. — Сказал ласково, но тут же, увидев толстого седобородого купчину, подбежал к нему.

— Возьми.— И сунул удивленному купцу полушку.— Не выматывай кишки-то из бедняков.— Ткнул посохом в купеческий живот.— А то брюхо лопнет.

Тот смиренно поклонился: с божьим человеком лаяться грех.

А Иван Колпак*, гремя веригами, побежал дальше. В торговых рядах его привечали бабы, наперебой предлагая кто репы, кто ржаных лепешек, кто жирного студня. Примета была такая: у кого юродивый попробует хотя бы малость, у того торговля пойдет удачная.

На торговой площади на грязно-сером помосте у позорного столба черный, как жук, палач в застиранной красной рубахе порол плетью молодую девку, оголенную по пояс. На ее спине вспухли синие рубцы. Девка пронзительно кричала:

— Ой, светы вы мои, пощадите! Светы вы мои!..

— Нишкни, дурища, со счету не сбивай,— равнодушно говорил рыжий стрелец в коричневом кафтане.— Двадцать три, четыре, пяток... Хватит! Отвязывай сироту.

Палач отбросил в сторону плеть и привычно отстегнул ремни. Девка так и села на захарканый склизкий пол.

— За что?— спросил Ареев у любопытной торговки.— За что наказали?

— У рыбника Евсея Минаева сушеного леща украла. Вот и приказал торговый староста леща вернуть Евсею, а девке — плетей.

— Сукин сын он, вражина!— прибавила другая.— За леща девку-то искалечили.

— А где же Минаев?

— Как бить зачали, ушел в свою лавку скорей, идет и лыбится.

* Иван Большой (Железный) Колпак (или Водонос)— личность историческая. Родом вологжанин. Обличал бояр и купцов, предсказывал им всяческие беды. Из Вологды ушел в Москву, где пользовался уважением москвичей. Всенародно называл Бориса Годунова царем Иродом. О нем упоминал Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского». Он же послужил прототипом Николки в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Похоронен под спудом церкви Василия Блаженного.

Около девки суетился Иван Колпак, гладил шершавыми ладонями ей лицо, уговаривал:

— Терпи, сирота. Как звать-то?

— Ариной, батюшка Иванушка, Ариной. На Верхнем посаде живу, без отца и матери, с бабкой в земляной избушке. Оголодали. У меня, батюшка, сухотка.

Иван снял с головы колпак.

— Поусердствуйте, православные, ради спасения души!— И стал обходить ряды.

И такова была слава юродивого — никто не отказал. Ареев тоже медяк положил.

Юродивый взял Арину за руку, повел ее в рыбный ряд.

У Евсея Минаева лавка большая. Связками развешена сушеная рыба. В кадках — вонища-то! — соленая. В белых кадочках — икра и свежая рыба: щуки, налимы, окуни.

Рыбник худенький, юркий, бородка клинышком. Поверх зипуна кожаный передник. Стоял за прилавком и наблюдал, как два приказчика отпускали товар. Завидев Ивана с девкою, а за ними толпу народа, хотел было юркнуть в каморку, но его окликнул юродивый:

— Христопродавец! Почто грех творишь?

— Что ты, Иванушка, милачок, окстись, миленькой! Возьми-ко лучше рыбки со льда свеженькой для ухи.

— Я те дам рыбки! Леща пожалел, окаянный!

Иван поднял кверху правую длань, забренчали вериги, притих народ.

— За девку не будет те, Евсейка, торгового счастья, не сегодня, не завтра, не неделю! Слышьте, православные?

— Слышим, Иванушка, — загомонил народ. И сразу лавка опустела, а покупатели, ранее отобравшие товар, поспешили положить рыбины на прилавок.

— Что вы, голуби, безумного юрода слушаете? По нем давно кнут да тюрьма плачут! — уговаривал покупателей Евсей, но те уже переходили в соседнюю лавку, где старик рыбник вертелся бесом перед Иваном Колпаком. А тот сидел на скамье и сыпал в платок Арины медяки. Рыбник же с поклоном положил на скамью отборной сушеной рыбы.

— Возьми-ко, Аринушка.

В толпе был и Григорий Антипыч. Юродивый позвал его:

— Антипыч, у ты подворье знатное. С кем живешь?

— Вдов я, сам знаешь, Иванушка. Сын старшой в Устюге промышляет, младший при мне, да еще двоих учеников держу. Стряпуха есть — бабка Ульяна да коных Евстигней, вот и вся моя услуга.

— Возьми для бога Аринушку с ее бабкой. Устрой. — Юродивый взмахнул руками и пропел петухом: — Ку-ка-реку! Счастье принесут!

— Ну что ж!

Ареев снял треух. Толпа ахнула. Царский изограф бьет девке поклон.

— Ну что ж, приходи к вечеру, сирота, на мое подворье, не обижу.

С тех пор прижилась Арина на подворье Ареева. Взял ее Антипыч, когда ей осмнадцать исполнилось. Старая Ульяна отмыла девку, залечила травами рубцы на спине, а от болезни грудной — поила парным молоком с медом, благо у Ареева корова рыжей масти, ярославка.

Через год Арину не узнать — красивой девушкой оказалась: высоконькая, белолицая, коса длинная льняная. Все у нее спорилось: прибрать ли за коровою, за птицею ли ходить, прясть ли, а прясть тонко умела. А уж на Григория Антипыча как на господа бога смотрела. Младший Ареев, Никита, тоже мастер иконописный, румяnel, когда с Ариной невзначай встречался. Аринина бабка скоро померла, благословив внучку и Ареева за доброту, и дом Григория стал для девушки родным.

А Иван Колпак ушел к Троице, а оттуда — в Москву...

2. ПРОШЛО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

В мастерской Ареева, просторной и светлой, запах липовых досок, олифы, вереска, рыбьего клея, стружки. Любил этот запах изограф. На полках иконы, в туесках беличьи кисти. Чистота. Благолепие.

В мастерской трудились сам хозяин, сын Никита, двое подмастерьев: Гурий Чуранов да Матюша Иса-

ков, старательные, грамотные. Весной и летом вставляли рано, в шестом часу, молились перед киотом, затем ели на кухне холодец с хреном и чесноком — хлеб ржаной Ульяна выпекала вкусный, духовитый — и шли в мастерскую. Ареев не заставлял учеников работать до сумерек, но сами они зачастую писали иконы, не считаясь со временем. Иконы из мастерской Ареева, особенно житийные — с клеймами, ценились не только вологжанами — их заказывали костромичи, ярославцы, москвичи. Ареев обладал чудесным даром искусно сочетать краски: пурпурные, охристо-золотистые, голубые и зеленые. Он изучил письмо Андрея Рублева, Даниила Черного, Дионисия Глушицкого и другого, великого Дионисия — ферапонтовского и сам чувствовал, где и какой цвет следует положить. Некоторые иконы Ареев отсылал к мастерам серебряникам для изготовления риз.

Бывая в Москве и Ярославле, изограф покупал книги — и печатные, и рукописные. Не всякий мог их иметь. Печатные книги в Москве после отъезда диакона Ивана Федорова не издавались. Вологодские немцы из Фрязиной слободы продали Арееву листы с изображением библейских событий, а в Москве, в иконной лавке Прохора Кузьмина, приобрел он три рукописные книги в кожаных переплетах с застежками: «Книга Акос, или врачевание, от славнейших и мудрейших учителей», «Слово о жизни отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископа», «Книга глаголемая по-эллиньски и по-гречески Арифметика, по-немецки Алгоритма, а по-русски Цифирная счетная мудрость».

Ареев считался достаточным и уважаемым хозяином. При царе Иване Васильевиче его покойный отец вызывался в Москву, а сам он при Федоре Ивановиче оставался в столице для письма живописного в соборах. Оба, отец и сын, носили титулы царских изографов, имели жалованные кафтаны с позументами.

При Борисе Федоровиче Годунове Григорию велели быть в дворцовом приказе в Москве, принять выгодный заказ. В Москву ехал на ямских две недели. Ехал с великим бережением: в лесах водились не только волки, но и обнищавшие мужики-разбойники. С каждого ямского стана вооруженные пищальями стрельцы сопровождали проезжающих и купеческие обозы.

Ареев ехал с учеником Гурием Чурановым, молча-

ливым, плечистым, черноволосым крепышом. Поверх зипуна тот опоясался тяжелой саблей, а за пазухой пистоль.

За неделю до этого разбойники ограбили обоз промышленника Строганова, а приказчика — он уложил кистенем двух мужиков — повесили.

Ах до чего народ от голода, лютых недоимок и боярских батогов озлобился!

В Ярославле Ареев сутки отдыхал у приятеля — иконника Федора Егорова. За кружкой браги поведал Егоров о всякой всячине, рассказывал оглядываясь, как бы кто из домашних не подслушал. На Литве объявился истинный царевич Дмитрий Иванович. В Угличе будто бы зарезали не его, а поповского сына, верные же слуги тайно сберегли царевича и переправили в Литву. Ныне же вошедший в возраст царевич похотел отцовского наследия. Паны литовские и сам наисветлейший круль Речи Посполитой Сигизмунд дали ему право собирать войско, а воевода из Сандомира пан Мнишек не жалеет на сие казны и дочь панну Марину провозгласил невестой московского царевича. Под его знамена собираются донские и запорожские казаки, да и многие из простолюдинов бегут в Литву. На границе поставлены царские заставы, дабы вертать в Москву беглецов. Посланы московские полки, чтобы разбить Гришку Отрепьева — так именуют царевича в Борисовых грамотах, называя его беглым монастырским послушником.

А еще сказывал Федор Егорович, что и в Ярославле и в Москве соглядатаи Борисовы рыщут по городам, хватают недовольных и везут на дыбу. Так что нынче православные молчат, не хотят в пыточную камеру попасть, и лишь юродивый Иван Большой Колпак обличает царя и бояр, народ же Иванушку бережет.

И на счастье в Москве у Лобного места повстречался Арееву Иван Колпак, признал земляка:

— Как живешь, Антипыч? Что, у тя Аринушка?

Объяснил Ареев свои обстоятельства и пожелал Иванушке доброго здоровья, а тот на прощание сунул в карман кафтана Григорию черный пряник:

— Отдай Аринушке в приданое.

Во дворцовом приказе стольник Куракин вежливо принял иконника, усадил на лавку и велел, не откладывая, написать две сотни икон разных размеров: деся-

териков, восьмериков, листоушек для московских церквей. Да еще для царевых покоев — двух Никол: Зимнего в митре и Летнего. И у вологодских серебряников одеть в ризы. Задаток дал, не торгуясь.

Обратно ехал без докуки, и к Сретенью прибыли в Вологду. Отдал Ареев Арине пряник:

— Это тебе, дочка богоданная, Иванушка в приданое прислал.

Раскраснелась дева.

— Спаси тебя, Григорий Антипыч! — И горячими губами прижалась к его руке.

Только мастерская Ареева дворцовый заказ выполнила и с тщательным бережением отправила в Москву (сын Никита и Гурий Чуранов возили), как на загнанных лошадях прискакали московские стрельцы. Старый сотник велел перед Софией собрать горожан и громогласно воскликнул:

— Царь Борис, незаконно престол похитивший, помре, царевич Федор и вдова Борисова отравились, отчий престол воспринял царь и великий князь Дмитрий Иванович всея Руси. Велено учинить присягу царю Дмитрию.

Воеводы, дьяки, дворяне, купцы и все посадские мужска пола персты кверху подняли и поклялись быть верными Дмитрию Ивановичу.

Соборный протопоп ту присягу крестным целованием крепил.

— Нам что, — рассуждали жители, — Борис ли, Митрий ли, лишь бы ущербу промыслишкам да торговлишке не чинили московские бояре.

Воевода и купцы зазвали сотника, московского дьяка и пятидесятников государевых на обед. Угощали торовато: стерлядью разварной, нельмушкой и сигом кубенским, судаком белозерским, вином фряжским, брагой, что в нос и ноги ударяет, целого барана зажарили... Ублажали по-княжески, надеялись — москвичи захмелеют и все расскажут по правде. Так и вышло. Сотник, поседевший в боях, кривить душой не захотел.

— Добрые вы люди вологодские, мы указ государев исполнили, а ежели по совести, грех на душу не возьму, страшные дела в Москве творятся. Покойный Борис нам не мешал, поперек не становился, в церковь ходил, вон какую колокольню Ивана Великого отгрохал, и наследник его Федор Борисович паренек был

умный, благожелательный: я, не раз в Кремле бываючи, видел наследника, завсегда царевич здоровался, спрашивал о службе...*

— Вишь какой отрок, с чего-то он, болезный, отравился? — спросил отец Василий, поп церкви Вознесенья.

— Не отравился, отче, все сие боярская напраслина. Забили его бояре до смерти, там и царицу задушили, а царевну Ксению уготовили для забавы Дмитрию Ивановичу.

— А каков собою государь? — поинтересовался воевода. — Красив, чать, молод?

— Мне его красота на чих, господин воевода. Царь, конечно, молод, бритоус, в польском кунтуше ходит, ласковый, к стрельцам добр, не чванный, на ногу быстр, чего еще?.. Плохо, братцы, что с ним понаехало всякой панской и шляхетской голи — числа нет. Пьянствуют, обижают женок и девок, чуть что — саблями грозят, занимают лучшие хоромы в Белом городе, а хозяев аль сгоняют, аль стесняют.

— Царь-то он законный? Как мыслишь, господин сотник?

— Кто его знает, один бог знает. Матушку царицу — инокиню Марфу вызвал Дмитрий, та от радости плачет, сынок, грит, мой, Митюша это. А Митюша-то патриархом посадил грека Игнатия, что унии с папой Римским придерживается, попы да монахи того Игнатия кланут.

И замолчал сотник.

Приуныли вологодские власти и купцы: на чужбине, чать, спортили царя, ишь что иноверцы в Москве деют. Чесали затылки, плевались, выжидали: ой, ой, что еще будет?... Видно, прав был юродивый Иванушка — горе будет.

*

* * *

Давненько замечал Ареев, что Никита заглядывается на Арину, и та нет-нет да и дарит ласковым взором юношу. Никита старался чем мог услужить деве: зи-

* Иван Великий был главным дозорным пунктом Кремля; воздвигнут в начале XVI века (архитектор Бон Фрязин). При царе Борисе надстроено два великолепных яруса и увенчана колокольня золотым куполом (высота 81 метр).

мой на санках с проруби воды привезет; когда увидит, что Арина тяжесть несет, выбежит во двор, поможет и скажет:

— Ты, Аринушка, завсегда меня кличь, я сильный.
Арина нежно отвечает:

— Благодарствую, Никитушка, касатик.

И однажды пришел Никита в опочивальню Григория Антипыча, встал у дверей.

— Батюшка, разреши поклониться.

— Слушаю, сынок.

— Не серчай, батюшка, по сердцу мне Арина, не прожить без нее. Ежели милость будет — выдай деву за меня. Успокоим твою старость, внучата пойдут, рода нашего продолжение.

Григорий Антипыч думал. Полюбил он скромную девицу — трудолюбива, почтительна, чистоплотна, ровно не нищая сирота, а из отеческого рода-племени. Конечно, Никита — парень кровь с молоком, весь в жену-покойницу: русоволос, станом строен, синеок, к тому же мастер знатный, не хуже отца иконы пишет, он и резчик такой, что залюбуешься, ей-богу залюбуешься. И свахи приходили, невест сватали — купецких и поповских с богатым приданым. Да что там думать — не в деньгах счастье. Он, Ареев, не бедняк, хватит, чем прожить. Ариша ему богоданная дочь, сам даст ей приданое, а о прочем бабка Ульяна позаботится — прилипла она сердцем к Арине.

— Пойди, Никита, покличь Аришу, — сказал ласково.

— Батюшка! — Никита опрометью выскочил за дверь.

Едва слышно ступая, вошла Арина.

— Кликали, батюшка Григорий Антипыч?

— Кликал.

Ареев снял с киота икону Спаса Милостивого в сканном уборе — ценная была икона ростовских писем.

— Ариша, взял я тебя за дочь, похаять грех, смиренная и умная ты дева... Теперь Никита челом бьет взять тебя в жены. Пойдешь? Не неволю, как хошь.

— Батюшка родненький, мил мне Никитушка, буду верной женой до гроба!

— Ин ладно, встаньте на колени дети, благословляю вас, будьте счастливы и живите в трудах и милости.

После оглашения в церкви на Ленивой площади справили свадьбу. С тройками, украшенными лентами и колокольчиками, с поезжанами, свадебным столом на сто человек — все было по обряду.

Около освещенных окон ареевского дома толпились ребятишки. К ним выходил Григорий Антипыч с подносом срезков и пряников и всех щедро угощал.

— Кушайте, ребята, кушайте на доброе здоровье.

*
* *

До Лихолетия Вологда процветала. Купцы занимались торговлею, посадские — ремеслами: кузнечным, каменным, плотничьим, канатным, кораблестроительным и другими. Вологодские плотники оснащали корабли — река Вологда была широка и глубока. Хорошие доходы имели иностранцы — немчины и фрязины, постоянные жители города. Им принадлежало одиннадцать подворий во Фрязиновской слободе на левом берегу реки.

Окрестные монастыри, крестьяне и помещики зависели от города: сбывали на базарах зерно, лен, мясо, рыбу, деготь, мед — и на торговых площадях всегда было шумно илюдно. Вскоре после отъезда сотника и стрельцов в Вологду приехали гостями усатые польские и литовские шляхтичи. И хоть их было немного — они бряцали саблями, требовали у воеводы лучшего жилья. Непрошеными заходили к посадским.

— Эй, пан москаль! Сто дьяблов в печенку! Ставь горилку на стол, пей с нами за здравие милостивого царя Дмитрия!

Приходилось угощать усатых краснорожих панов, морщась пить за здравие не только царя, но и его нареченной невесты панны Марины.

Не миновали они и подворья Ареевых. В сумерках подъехали к запертым воротам. Пес на цепи лаял и рвался.

— Ребята, — сказал Ареев, — примем ляхов с честью.

На подворье было пятеро мужиков: сам Антипыч, конюх Евстигней, Никита и двое подмастерьев. Хозяин и конюх вооружились дубинами, пицаль взял Никита, Гурий Чуранов и Матюша Исаков — пистолы.

Открыли ворота. Пан и двое гусар въехали во двор.

— Что то есть? — высоким фальцетом прокричал пан. — Что то есть, лайдаки?

Но, увидев вооруженных людей, сник, слез с коня.

— Пан хозяин, — проговорил миролюбиво, — мы к тебе с добром, слышали, что пан хозяин живописец знатный.

— Что ж, — Ареев поклонился, — хотя пана не приглашали, заходи, только изволь оружие скинуть.

— То не позволим, мы слуги ясновельможного круля Сигизмунда. Я есть гусарский хорунжий Ян Гранский.

— У нас, не обессудь, пан, свои порядки, ежели не скинешь саблю, с богом обратно повертывай.

Хорунжий еще немного поспесивился, но спорить не стал. В прихожей гусары скинули на лавку сбрую и прошли в горницу. Важно расселись.

— Угощай, пан художник.

— Распоряжусь, — Ареев прошел к бабке Ульяне. Та, испуганная, в стряпущей разжигала печь. Боялась за Аришу.

— Ульяна, — приказал Григорий Антипыч, — надо панов угостить, неси в горницу кушанья, что у тебя припасены. Аринушку Никита сведет к соседу, пусть там до утра пробудет.

Ульяна внесла в горницу блюдо холодной баранины, жареную рыбу, миски с солеными рыжиками и огурцами, поставила на столешницу сулии: одну меду крепкого, другую — браги.

— Кушай, господин хорунжий, — поблескивая недобро черными глазами, угощал Гурий.

— Меда попробуй, — наливал в чары вино Ареев.

Хорунжий — сухощавый, пожилой, усы желтые, глаза навывкате, весь какой-то потертый, в простом жупане без блесток и выпушек — пил много и крикал. Молодые гусары тоже пили, не отказывались от жареной баранины. Большое блюдо было быстро опорожнено.

— У пана художника пани есть? — спросил хорунжий.

— Моя хозяйка давно в могиле.

— А у сына?

— Есть. Только ныне проводили на богомолье. К преподобному Кириллу уехала.

Чтобы задобрить гостя (ни дна ему ни покрышки), Ареев налил мед в серебряную позолоченную чару — дар купца Овсянникова за икону — и поднес пану.

— Выкушай, пан хорунжий, за наше здравие и возьми на память.

Пан привык брать все без спросу у москалей, а тут — подарок. Он застеснялся, встал с лавки, забряцал шпорами.

— Нех жие, пане художник! — И залпом опрокинул чару.

Когда на столешнице остались пустые сулеи и бараньи кости, хорунжий и гусары выехали из ворот ареевского подворья.

Веселились молодые иконники, веселились конюх Евстигней и бабка Ульяна.

— Здорово Григорий Антипыч пана угостил! — говорил Матюша Исаков. — А мы уж приготовились с Гурием к рукопашной.

— И пропало бы наше подворье, — заметил Ареев. — Разграбили бы и сожгли!

Недолго гостили шляхтичи.

Приказом литовского гетмана повелевалось всем польским и литовским воинам и их челяди выехать обратно.

3. ИЗОГРАФ ИЩЕТ ПРАВДУ

И решил Григорий Антипыч Ареев добиться правды, разузнать поболее о царе Димитрии Ивановиче: подлинный ли он угличский царевич?

Осенью, положив в кожаный мешок иконы в серебряных уборах для подарков дьякам и стольникам, с попутным купеческим обозом отправился он в престольный град...

Ареев сидел на скамейке в дворцовом приказе, принаряженный в коричневом жалованном кафтане с желтыми позументами, в которые вплетены золоченые нити. Бороду расчесал костяным пижемским гребнем, а волосы на голове припомадил дивного запаха розовым маслом — и походил на праздничную икону. Дьяк, с опухшим лицом, с седой трухлявой бородкой, в своем темно-синем потертом кафтане, выглядел перед Ареевым паршиво, прямо сказать, никудышно

выглядел и, чувствуя это, язвил изографа поносными словами.

— Что-й-то ты, Ареев, загордел? Чтой-й-то ты не по чину ряжу свою, яко воевода, выставляешь?

— Напрасно, батюшка Фрол Матвеевич, изволишь лаяться,— распевно возражал иконник.— Разве можно в стольной Москве неучтивым казать себя. Ведь мы не просто мастера, а царские изографы.

— Кем пожалован?— Дьяк стукнул кулаком по столешнице, стукнул крепко, не рассчитав, даже рукою затряс от боли.— Кем пожалован, собачий ты сын? При царе Федоре Бориской Годуновым, коего ныне за татя, похитившего царский венец, считают.

— Татя не знаю,— веско молвил Ареев.— Знаю царя Бориса Федоровича всея Руси, да и ты позапаятовал, видно, Матвейч, как из приказных в дьяки при покойном государе вышел.

— Тише ты, — дьяк оглянулся, перекрестился.— При государе Димитрии Ивановиче (продли царица небесная дни его!) нельзя упоминать покойного Бориса.

— А у меня к тебе, Фрол Матвеевич, просьбишка имеется.

Ареев не спеша отстегнул крючок на кафтане, бережно вытащил завернутую в алый плат иконку богородицы в серебряной ризе. Иконка была из дорогих, и венчик отливал золотом и жемчугом.

Дьяк жадно глядел на подарок.

— До чего ж умудрен ты, Григорий, промыслом божиим на такое художество — и риза дивная, и лик умильный.

— Прими, дьяче, от моего ремесла.

Фрол Матвеевич, забыв и про «собачьего сына» и про «ряжу», улыбочиво расплылся.

— Ах, свет ты мой миленькой! Како благодарить за божье благословение? Пойдем нынче ко мне на подворье, угощу.

Дьяк встал с кресла и поклонился изографу. Подарок с бережением положил за пазуху и крикнул в соседнюю палату, где за длинным столом сидели и гомонили приказные молодцы, строчившие столбцы бесконечных тяжб. Тут же толпились просители из всяких дворцовых сел и деревень.

Несмотря на шум, Яшка, низенький лысый подь-

ячий, враз услышал тонкий голос дьяка и рысцой подбежал к его столу.

— Что прикажешь, господин?

— Ты тута порядок соблюдай, Яков, а мне безотлагательно след пройтись по государеву делу.

— Не тревожься, батюшка Фрол Матвеевич, все в догляде будет.

Вышли на улицу. Прохладен сентябрь, золотит листья кленов у кремлевской стены. На площади гудит народ, и кого только тут нету: и сбитенщики, и торговны пирогами с зайчатинной и требухой... Налетай, православные, покупай, полушка — пара! И нищие, слепые, безногие со стихарями о Лазаре, и безместные попики в замызганных подрясниках, и польские и литовские рейтары, и стрельцы у Лобного места — все гудит, двигается; бабий визг, пьяный смех... И над всей толкотнею, божбою, грязью, как в оправдание нескладной тяжкой жизни, переливается своими новыми главками, узорчатостью, рвется ввысь храм Василия Блаженного — сокровище земли русской...

— В чем твоя просьбица, Григорий? — спросил дьяк Ареева, когда они шли по площади.

— Увидеть мне надо боярина воеводу Петра Басманова.

— А для чего?

— Только самому боярину поведаю.

— Как хочешь, Григорий, ты мне радость учинил. Расстараясь, чтобы завтра ты боярина Петра лицезрел.

Они вошли в переулок, едва успели посторониться — под крики кучера «пади, пади!» выехала карета, запряженная цугом четверкой белых коней. По бокам кареты на таких же конях благолепные отроки — рынды.

— Государыня матушка Марфа к сыну-государю, царю Димитрию Ивановичу едет, — сказал дьяк, снимая меховой колпак. Чуть ли не каждый денек: то царь к матушке, то она, инокиня, к нему.

4. САМОЗВАНЕЦ И ЦАРИЦА МАРФА

Димитрий выбежал на дворцовое крыльцо встречать матушку. Рыжий, в летнем вишневом кафтане, в шелковой белой рубаше, подпоясанной серебряным пояс-

ком, в синих бархатных штанах, заправленных в щегольские сафьяновые зеленые сапожки с высоким подбором, чтобы казаться выше: ростом царь маловат был, зато грудь и плечи широки; в глазах и насмешка и какая-то печаль, какая — один бог-вседержитель ведает; портили его лицо большие бородавки на лбу и на щеке.

За Димитрием Ивановичем торопились в длиннополых кафтанах бородатые стольники, трое польских панов, несмотря на тепло, в железных латах, усатые, с бритыми подбородками, в шлемах с перьями, они совсем не подходили к кремлевским палатам.

Царь проводил царицу-инокиню в свои покои, усадил в кожаное кресло и заботливо подставил под ее ноги скамеечку.

— Удобно ли тебе, матушка?

Марфа полуоткрыла рот, слизала языком с верхней губы пот — ой, до чего жарко в колымаге, да и ряса черная дюже тепла! — выпростала пальцы из рукавов и, перебирая кипарисовые четки, освященные в самом Иерусалиме патриархом, ответила медово:

— Спаси ты господь, Митенька, что покоишь старуху мать.

— Что ты, родная, какая ты старуха? Жить тебе да жить! Намедни прислали мне с Архангельска-городка крест точеный из моржовой кости.

Царь подошел к ларцу, стоявшему поодаль на лавке, открыл его. Там на бархате лежал изумительной работы крест: и распятый Христос и предстоящие Мария и Иоанн — все это искусно вырезано по кости. Димитрий подал ларец Марфе: возьми, мол, матушка, в келью.

— Благодарствую, Митя, только у меня всякой святости хватает, оставь-ка лучше у себя, а мне в монастыре не надо.

Димитрий нахмурился.

— Не угодил тебе, матушка? — Взял руку Марфы, поцеловал. — Скажи, в младенчестве какие сладости я любил, не помнишь?

— Помню, сынок. Любил ты пряники медовые, стручки сладкие, да еще покойный братец Федор Иванович прислал заморские марципаны; в праздники же любил пироги с ягодами.

— Сего, матушка, не помню, — грустно улыбнулся

Димитрий, — ей-бо, забыл. Скитания монастырские, квас да сухари аржаные, грибы соленые...

Марфа из-под черной наметки смотрела пристально на царя. Уловить бы ее взгляд — что скрывается за ним? Не уловишь, а как прямо ей в зрак глянешь — отвертывается или прикрывает веки.

Замолчал опять царь.

— С Аксиньей, гряд, балуешься? — Зло кашлянула. — С Борискиной дочерью злосчастной? Сослать ее след в Горицкий монастырь... Сослать!

— Не инокини сей спрос, матушка.

Вскочил и снова забегал по мягкому ковру.

— Да кому судить прирожденного царя Московского, кому?

— Серчаешь, Митрий, — сухо уронила Марфа, словно четки рассыпала. — Не ранехонько ли, сынок?

«Сынок» прошелестело — как укусом в сердце ужалило.

— Поустала ты, государыня, — сказал громко. — Да и у меня тоже забот немало.

— Ну пребывай, Митя, царь Московский, во здравии. — И, шурша рясой, важная, истинно государыня, вышла из покоев.

5. АРЕЕВ У ВОЕВОДЫ БАСМАНОВА

Петр Басманов добился высокого положения не за род, а за храбрость и мужество. Великородные бояре, княжата, такие, как Шуйские или Голицыны, ведшие древо от рюриковичей, гедиминычей, негодовали: «Почто государь Димитрий привлекает Петрейку, мы присягнули царю, дабы он ласкал исконных бояр, а не худородных, видать по всему, обманулись мы, грешные. Расстригу Гришку Отрепьева признали за природного государя, охти, горе нам!» — «Надо, бояре, — советовал Шуйский, — холопов да торговый люд вкупе с духовенством на Гришку поднимать».

Собирались бояре келейно, тишком, распускали слухи: «Что-то царь наш с польскими панами дружит. Что-то царь православный мало богу молится, во все дела мешается, бояр несуразностям учит, а сам от обедов не почивает и в баню не ходит, в жены себе

берет католичку Маринку...» Шуйский перечислял грехи царя: «Сватов сандомирскому пану Мнишку засылает и первый ему помощник нынешний — распроклятый боярин воевода Петька Басманов. Ой, бояре, беда на наши головы! Сам пострадал от него, да убоялся Расстрига меня казнить, помиловал».

Обо всем этом Петр Федорович Басманов узнавал через верных слуг.

Дьяк Фрол Матвеевич сдержал свое слово и с опаской привел Ареева к Басманову.

— Сей царский изограф Григорий Антипов Ареев похотел с тобой по тайности свидеться. Прими его, господин воевода, нужный он человек и в Вологде почитаем.

Сказав это, дьяк удалился.

В боярской горнице остались воевода и вологодский иконник. Понравился Басманову степенный, умный, обходительный Ареев. Велел воевода подать кубки с медом крепким, а иконник поднес в подарок образ первосвященника московского Петра.

— Ныне Вологда с великим почтением, радостно крест Димитрию Ивановичу целовала. Сам ведаешь, воевода, богатства и прибитки вологодских торговых и посадских. По Вологде все северные города и земли равняются. Она зачин им дает.

— Про то ведаю. Да ты не таись, скажи, о чем твой спрос. Умею язык за зубами держать.

Ареев откушал меду, пригладил бороду:

— Реши мое сумленье, Петр Федорович.

— Говори смело, — поддержал его воевода.

— Скажи, боярин, взаправду ли царь Димитрий сын Грозного? — молвил Ареев и содрогнулся: батюшки, а ежели Басманов кликнет стражу и отведут его, вологодского умника, в пыточную камеру да вздернут на дыбу?.. Даже лицом посерел.

— Не пугайся, Григорий. — Басманов придвинулся ближе к иконнику. — На твой спрос отвечу. Царь Димитрий крепко убедил себя, что он сын Ивана Васильевича, и иным быть не желает, и вся повадка его царская. Разум у Димитрия Ивановича, как перед богом говорю, на благо Московского государства направлен. Сам посуди — Василий Шуйский пойман был в поносных речах на царя, на его самозванство. И что же государь учинил? Повелел боярам, митрополитам

и выборным московским судить Шуйского. И когда собор приговорил князя к смерти, царь его помиловал. Сослали Шуйских, а Димитрий Иванович возвратил злыдней в Москву и вернул им вотчины и боярство. Ты разумен, Антипыч, разве так поступил бы царь Борис? Он бы их тайно удавил.

— Ну а ты, господин воевода? Как ты мыслишь? Петр Федорович призадумался.

— По сыску, кой проводился при царе Борисе, государь якобы из рода Отрепьевых, научен был письму и начитан зело. Думный дьяк Щелкалов да бояре Романовы сего Юрия привечали, а за сим в чернецы постригли и наименовали Григорием. За грамоту и письмо взят он был к патриарху Иову, откеле бежал в Литву. Помогли ему Щелкалов и Романовы. Димитрий Иванович и по сю пору их жалует. Щелкалов окольниковым стал, а Филарет Романов митрополитом. Ну а остальное тебе ведомо.

— Ведомо, воевода Петр Федорович.

— Ну коль так, то и молчок. Кто бы ни был Димитрий, пусть и не царский сын, буду ему до смертного часа верный послух.

На дворе сентябрь, остатние дни тепла и света. В боярской горнице жарко — с утра топили печи, и изразцы горячие. Воевода любил жаркие горницы. В походах, в холодном, мерзлом воинском шатре мечтал о доме, о жаре кафеля и никогда не хаял слуг, как бы сильно ни натопили они печи. На горячей кафельной лежанке отдыхал блаженно, а когда ходил в баню, то холопы аж еле выдерживали обжигающий пар, прислуживая Петру Федоровичу.

И теперь, дабы развеять грустные мысли от откровенной беседы с вологодским изографом, сказал:

— Антипыч! Не попариться ли нам, а опосля, отдохнув, по чаре опрокинуть? Уж больно ты, друже, по сердцу мне пришелся.

6. КСЕНИЯ ГОДУНОВА

Ксения Борисовна Годунова ненавидела царя Димитрия, противен он был ей. А судьба царевны сложилась печально. Любимая дочь Бориса, в юности

лишилась она жениха — заморского королевича Иоанна (по слухам, его отравили бояре).

У Ксении были длинные черные косы и скользкая легкая походка. Она молилась и мечтала о счастье, пока не оплакала смерть отца и вскоре не увидела, как пьяные убийцы и бояре задушили подушками ее мать — царицу и зверски расправились с юным царем Федором Борисовичем. Ксения не могла забыть, как с грубыми площадными шутками топтались вокруг нее пьяные палачи. Тогда царевна желала, чтобы и с нею скорей покончили, — она уже не боялась смерти... Но Ксения осталась жить, как оказалось, для того, чтобы прибывший рыжий молодой человек, называвший себя сыном Грозного, приказал привести ее в свою опочивальню.

То, что произошло в первую ночь, Ксения не могла вспомнить без содрогания. Это было такое издевательство над ее не знавшим мужских рук телом, что даже помыслить о содеянном казалось кощунством.

И такое повторялось часто.

И к этому нельзя было привыкнуть.

Утром обессиленная, с косами распущенными, сидела в терему и плакалась.

Ино боже, Спас милосердой,
За что наше царство погибло,
За батюшково ли согрешенье,
За матушкино ли немольенье?

Снова и снова приходил рыжий царь, смеялся невесело — глаза у него были грустные, спрашивал:

— Чего хочешь, Ксюша? — и бросал властительным жестом на постель яхонтовые сережки и золотые кольца. — Не любишь? Презираешь?

Она отвечала:

— Из-за тебя батюшка скончался, из-за тебя убили брата и матушку... А почто надо мною насильничать?

— Ты, Ксюша, мила мне. Нареченная еще не приехала, а ты, Ксюша, пойми: зазорно мне, царю, с другими спать. Ты молода, врага моего дочка, мне и лестно, обнимая тебя, мстить его памяти. Не обижайся, царевна, а будь поласковой, не прогадаешь.

Царь заставлял ее танцевать с ним мазурку.

— Не гневайся, царевна, я больше твоего страдаю, только виду не кажу, трудно мне, племянница.

Сенные девушки, расчесывая длинные волосы царевны, плача рассказывали о бесчинстве ляхов в Кремле и Белом городе. Девушки пели протяжные песни, и Ксения чувствовала некоторое облегчение. Царевне теперь запрещали гулять одной по Кремлю, она сидела в терему. Ей, вчерашней хозяйке Кремля, было стыдно ходить в сопровождении стражи. Она посещала только храм, куда ее провожали швейцарские гвардейцы Димитрия.

Швейцарцы служили и при Борисе, а теперь ревностно несли караул при новом царе; они были строги и неразговорчивы. Но однажды молодой швейцарец сказал ей вполголоса:

— Я жалею вас, принцесса, и готов помочь,— и дружески улыбнулся.

От этих слов и доброй улыбки Ксения просветлела, но швейцарца перевели на наружный пост, и больше она его не видела.

Ох, милые наши переходы!
А кому будет по вас да ходити
После царского нашего жития
И после Бориса Годунова?
Ох милые наши теремы!
А кому будет в вас да сидети
После царского нашего жития
И после Бориса Годунова?..

Осенью Димитрий получил послание нареченного тестя пана Мнишка. Вельможный пан Юрий Мнишек, почтительно обращаясь к будущему зятю, писал, что ему ведомо стало о дочери Бориса Годунова и что он просит милостивого царя от имени панны Марины отослать из Москвы Ксению, дабы не подавать повода к сплетням.

Димитрию нравилась Ксения, но ее ненависть утомляла, а Марину он действительно любил и потому спросил Петра Басманова, как поступить с царевной.

Басманов не одобрял Димитрия, считая, что негоже так поступать с царской дочерью.

— Исправь вину свою, Димитрий Иванович,— сказал строго.— Прикажи выдать Ксении Борисовне во владение вотчину для прокорма и с честью направь ее туда с достойными сенными девицами.

— Нельзя сие, рад бы, да нельзя. Пан Юрий и Марина не дозволят. Матушка царица Марфа свербит:

«Постриги Ксению в Горицкий монастырь, что за Вологдой на Шексне-реке».

Басманов покраснел:

— Завсегда, государь, у сироты защиты нет.

— Подожди, Петр Федорович, вот женюсь на Марине, тогда получше устрою царевну, она все ж мне племянницей доводится, хотя и согрешил с нею, бес попутал, по молодости. Но не оставляю я ее, вот увидишь, Петр Федорович.

*
* *
*

Прошло несколько дней, а Димитрий продолжал сомневаться, отправить ли Ксению в далекие северные пределы или поселить ее поближе к Москве, чтобы навещать царевну.

Инокня матушка Марфа при каждом свидании с царем угрожала:

— Слушай, сынок, не срамись, сошли Ксюшку-подлюгу под крепким караулом в Горицкий монастырь — далеконокко и спокойно. Ой, Митя, сколь зла Борис причинил нам, роду Нагих, како мучил пытками и нуждой! — Марфа заплакала. — То мой сказ тебе твердый, нерушимый — отрынь Ксюшку. Не исполнишь — я к тебе ни ногой!

А воевода Петр Федорович Басманов твердил в обрат:

— Государь, ты — самодержец, не держись за матушкину рясу, не робей перед ясновельможными (чтоб им сгинуть окаянным!). — Доверчиво глядя на Димитрия, советовал: — Царь Борис, кляни не кляни, — истинный государь, избранный на соборе всей земли Московской, и Ксения, яко царева дочь, да еще в свойстве с царем Федором и царицей Ириной — прирожденная царевна. Пойдь к ней, государь, покайся в блуде своем, проси ее в невесты.

— Сдурел ты, Петр Федорович, не люб я ей.

— С чего-то ей любить тебя? Поступил ты с нею, государь, зазорно. Ежели с лаской и сердечно попросишь ее в царицы, она, умная и книжная девица, даст соглас. Из насильной полюбовницы царицей станет.

— А панна Марина? Что король Сигизмунд и паны сенаторы скажут? Войной на Русь пойдут?

— Отпор дадим, Дмитрий Иванович. Народ и войско люты на ляхов и Литву. Больно уж ты, государь, им поблажку даешь. Марина Юрьевна католичка, с нею ксендзы да иезуиты понаедут. Смотри, государь, худа бы не получилось, говорю для твоей пользы.

— Помолчи, Басманов, несуразное городишь.

Так и была решена судьба Ксении Годуновой.

Вечером Дмитрий пошел к царевне, смущенный шел.

— Ксюша,— ласково взял руку, поцеловал.— Придется расстаться нам, готовься в монастырь, сопроводить тебя до Горниц поручу стольнику — князю Ивану Андреевичу Хворостинину. Возьми двух сенных прислужниц да сундуков с рухлядью сколь похочешь. Князь Хворостинин позаботится, чтоб уважение всякое оказывали, и я своими милостями не оставлю.

Ксения молчала. Только грудь вздымалась да алые губы приоткрылись, а в черных глубоких глазах — презрение.

— Молчишь, царевна? Ни словечка не проронишь на прощанье?

Ксения гордо взметнула голову, на груди зазвенели алмазные подвески:

— Скажу, скажу! — Она смело размахнулась и звонко, хлестко, не по-женски ударила его по щеке. — Не царь ты! Уходи из терема, постылый, уходи!

Дмитрий бросился к ней, но затем остановился. Посреди терема поклонился и, стуча серебряными подковками сапожек, вышел.

Он шел по кремлевским переходам, и встречные стольники сторонились, давая дорогу, склоняясь до земли. Царь не обращал на них внимания.

7. АРЕЕВ И БЕЗБОЖНИК КНЯЗЬ

Уезжая из Москвы, Ареев снова побывал у Басманова. Сидели за столешницей, угощались медом, мирно беседовали. Зашел к воеводе и молодой стольник князь Иван Хворостинин, высокий, с черной бородкой, которую подстригал клинышком на западный манер. Князь был личностью примечательной и выска-

зывает суждения, кои приводили в изумление знатных москвичей, привыкших к старине. Владея латынью и польской речью, он в церковь божью ходил редко, обряды не соблюдал. В ратном деле Хворостинин показал храбрость и умение руководить воинами, за что Басманов предлагал ему воеводство.

Хворостинин вежливо поручался с Ареевым, а когда Басманов показал подарок изографа, сказал:

— Зело высоко художество твое, господин Ареев, ты бы для меня Георгия написал, за ценой не постою.

— За похвалу благодарю, княже, Георгия Победоносца исполню и в храме Софийском освящу.

— Сие неважно, мастер. Мне художество требуется, а ежели его и покропит поп, то красоты не прибавит.

Басманов и Ареев неодобрительно посмотрели на князя. А тот весело рассмеялся.

— Неужто взаправду думаешь, царский изограф, что твои иконы помогают молящимся?

— По вере человека, княже, по неизреченной милости господь бог и святые отцы могут через мя, грешного, христианину православному исцеление подать. Сие святые изображения пишу с трепетом сердца.

— Не буду смущать вас, милостивые господа. В красоту живописания верю, в чудеса — нет: доски есть доски. Надея единая у человека — на себя да на близких, а мы зверьми живем: землю сеем рожью, а питаемся ложью. Так-то!

Ареев не стал больше спорить с хозяйским гостем, Басманов, недовольный богохульством князя, сказал:

— Негоже нам сии высокие духовные дела решать, мы, княже, воины, а не каноники с патриаршего двора. Лучше поведай, когда царевну повезешь в монастырь?

— Завтра поутру государь Димитрий Иванович повелел. В Ярославле и Вологде роздых, а там в Горицы, где ее, бедняжку, постригут — до чего же мне сие поручение докука!

— Сколь стрельцов поезд царевны сопровождать будут?

— Возьму десяток конных да еще двух сотников.

— Почто царевну в монахини — молодешенька она еще? — спросил Ареев.

— «Почто», «почто»... — Хворостинин залпом вы-

пил кубок меда. — Ты, иконник, воеводу-боярина спроси: они с государем обдумали.

— Царская воля,— нахмурился воевода.— Я супротив был, да разве с государем поспоришь!

*

* * *

Поутру стояли у кремлевских палат возки в окружении конных стрельцов. Сенные девушки и жильцы выносили царевнины сундуки и укладывали их в дальнюю дорогу.

Царь Димитрий тайком выглядывал из окошка, волновался, тер пальцами виски, голова болела, как с похмелья.

Князь Хворостинин, в походном одеянии, опоясанный саблею, распорядился хмуро, цедил приказания сквозь зубы.

Когда показалась царевна, встретил ее почтительно, выказал Ксении особое уважение, именовал государыней царевной.

И повезли Ксению в закрытом возке на Вологду, в край вечно зеленых елей и сосен. Хворостинин снискал расположение царевны, и она относилась к нему с доверием.

В Горицком монастыре он с замиранием сердца наблюдал, как под печальный перезвон колоколов старец иеромонах обрезал прядь Ксениных волос и как царевна, плача, опустилась на колени. На нее надели иноческую мантию, дав новое иноческое имя Ольга.

Прощаясь с Хворостининым, царевна пожелала:

— Счастливого пути, княже. Был ты ко мне участлив, ровно брат старший.

Хворостинин растрогался и всю обратную дорогу разгорался обидой на царя: Маринку берет, а тако сокровище отринул...

В Вологде на роздыхе посетил мастерскую Ареева. Принял от него иконку с изображением Георгия Победоносца, и настолько письмо образа ему понравилось, что высыпал на столешницу десять червонцев.

— Угодил мне еси, господин изограф.

Ареев золота не взял.

— Прими подарение, Иван Андреевич, може, и не веришь в силу благодати, но ты воин и Георгий воин, рази, княже, супостатов, яко Георгий змия.

Хворостинин снял с безымянного пальца тяжелый перстень с изумрудом.

— Носи на память, изограф!

Икону Георгия князь берег всю жизнь. Когда через много лет его как еретика сослали в тюремную келью Кириллова монастыря, он в белые ночи доставал из соломенной подушки спрятанную икону, смотрел на переливчатую живопись, на горделивого белого коня и божественного всадника, смотрел и утешался...

8. В ГОРИЦКОМ МОНАСТЫРЕ

Царевна Ксения — инокиня Ольга в монастыре занималась вышиванием. В этом ей помогали две сеньные девушки, ставшие послушницами. Монахини достали для царевны бисер отборный, шелковые нити, сделали красивые легкие пальца.

Горицкий Воскресенский девичий монастырь был расположен у горы Мауры среди вековых лесов, в краю голубых озер, недалеко от большой рыбной реки Шексны. Он считался под присмотром архимандритов знаменитого Кирилло-Белозерского монастыря.

Основательница Горицкого девичьего монастыря княгиня Евфросинья Старицкая — мать удельного князя Владимира Андреевича, властная женщина, добивавшаяся престола для своего сына и знаменитая вышивальщица (она обучила разным тонкостям вышивки монахинь), находилась в своем монастыре как в ссылке — так повелел ее племянник, двоюродный брат Владимира Иван Васильевич Грозный.

Когда в опричнину Иван Грозный за «измену» предал казни Владимира Андреевича и его семью, то велел также покончить и с Евфросиньей.

Мать казначея Ангелина рассказывала Ксении:

— Я тогда еще млада была, княгиня Евфросинья у нас спасалась от гнева царя, все время в молитве проводила, панихиды служила по сыну. Ночью то было, все уже спали, слышу — конский топот, крики, в ворота стучат. «По царскому повелению!» — кричат. То приехали кромешники-опричники, страшные, пьяные, в черных кафтанах и шлыках. «Подать сюда старуху Евфросинью и всех ее прислужниц!» Игуменья было

заступилась: они, мол, под сенью божьей обители — да куда! Прикрикнули на старицу: «Нишкни, дура!» Ой как завопили келейницы, что у княгини служили! А их гонят за ворота полураздетых, без обуви-то, а впереди Евфросинья, и секут ее по дороге плетьюми. Факелы горят: света дневного пугались каты, ночью кончали у реки Шексны. Двенадцать девок застрелили из пищалей и порубали саблями, саму княгиню Евфросинью в мешок засунули с камнями и бросили в реку. Ночью волки тела-то девичьи поели, и хоронить было нечего. А там через год прислал царь Иван сто рублей и велел записать княгиню и девиц на церковное поминание в синодик.

Царевна слушала и ужасалась.

*
* *
*

Царь Димитрий, принимая Хворостинина, выпрашивал о поездке в монастырь, про обряд пострижения царевны.

— Небось честила меня Ксения Борисовна всяко? Ты, стольник, не скрывай.

— Скрывать неча, великий государь,— сдержанно ответил Иван Андреевич,— о тебе и разговору не было. В иночество обрядили государыню царевну по уставу. Не тако, прости пресветлый царь, поступать следовало.

— Нельзя иначе, да и не твое это дело, Хворостинин, отвез в благополучии — ну и спасибо, теперь ступай — мне в думу пора.

9. БОЯРСКАЯ ДУМА ЗАСЕДАЕТ

В Грановитой палате ожидала боярская дума государя. Сидели первенствующие: Мстиславские, Шуйские, Трубецкие, Романовы, Голицыны, с ними рядом родичи царские, бояре пожалованные — Нагие. Ведомо всем, что они, худородные, при Иване Грозном через свадьбу в стольники вышли. Тут и Басманов — воевода, сын кромешника Федьки; а среди окольных посадил государь Василия Щелкалова, чего николи не бывало: из дьяков — в окольных.

Сидели бояре чинно, руки на животе, глаза — на царев престол пустой. Прибыл и патриарх Игнатий — грек с узенькими щелочками хитрых желтоватых глаз. Патриарх был подмоченный, ой до чего и подмоченный: вел переговоры с папой об унии, о соединении православной церкви с Ватиканом и о том, чтобы патриарх Московский принимал посвящение от папы — тьфу, что за мерзкая ересь?!

— Москва — третий Рим. И нате — римскому блюдодею на поклон ездить! И к чему Димитрий Иванович такого патриарха поставил!

Игнатий в белом клобуке, в шелковой рясе, на ней алмазная панагия на золотой цепи (ну и цепь тяжелая — на ней кобеля вешать, а не панагию).

Патриарх по ковру шагал переваливаясь, ровно боярыня на сносях. Блеющим голосом:

— Мир вам, бояре!

Бояре поднялись, а когда Игнатий благословлял их широким крестом, веки прикрыли, дабы не лицезреть его благословения.

Наконец и царь-батюшка явился. До чего ж стыдно, до чего ж не по чину! В летнем кафтанишке, голова еле прикрыта бархатной литовской шапчонкой. Не прошествовал по-царски, важно, а вбежал угорело и бац задницей на царский-то престол!

Ничего не поделаешь! Терпеть надо! Сами ждали из Литвы царевича и дождались ясна сокола, невежу и еретика.

— Будь здрав, царь-государь Димитрий Иванович, на многия лета!

Началась дума. Прежде-то при Федоре Ивановиче решали дела не спеша, вдумчиво, на то и называется — д у м а, а теперь все иначе.

Король шведский через прибывших ранее в Москву полномочных вельмож поздравил великого князя Димитрия Ивановича всея Руси на царстве прародительском и просил учинить московское посольство, дабы договор о вечном мире подписать. Надлежало избрать послов.

Бояре прели в шубах, соображали, кого назвать из бояр, дьяков, стольников в посольство. У каждого были друзья, каждому хотелось своего человека в посольстве видеть.

Глядели друг на друга косо.

Надоело Димитрию ждать. Коротко сказал:

— Видно, мне решать.— И назвал имена послов. Чтобы не обижать высокородных, во главе поставил старинного боярина.

Дума приговорила утвердить посольство.

— По старинке живете, господа! — повысил голос Димитрий.— Вам бы взглянуть, как за рубежом живут, поучиться бы след наукам, да что там наукам, хотя бы грамоту хорошо знали!

Бояре поеживались, в рукава смешки пускали: до чего ж государь несурязицу плетет — уши вянут!

На том дума и кончилась...

Димитрий мечтал о всеевропейском плане, мечтал поднять христианских королей, герцогов, кесаря священной Римской империи, Ватикан на освобождение от неверных турок Византии и Иерусалима. Писал об этом в Ватикан, Краков, Прагу, Мадрид. Император из Праги учтиво похвалил царя московского, называя такой поход рыцарским, крестовым. Папа благословлял Димитрия, прозрачно намекая, что, ежели он верный сын апостольской церкви (был такой грех в Литве: нуждался в помощи магнатов — принял католичество), то должен прежде установить церковное главенство Ватикана над Русью. Речь Посполитая гордо требовала Смоленск и прилегающие к нему городки и крепостицы. Король Сигизмунд Третий в верительных грамотах не то что царем, даже великим князем Руси Димитрия не титуловал, а просто писал: «его милости Димитрию князю Московскому...»

Такие грамоты Димитрий отказывался принимать, обижался до слез, топал ногами на послов Речи Посполитой. Послы кланялись.

— То не можно никак, ясновельможный князь, то подписано наисветлейшим Сигизмундом и панами сенаторами.

И приходилось принимать обидные грамоты, лишь тогда послы подходили к руке Димитрия.

В дружеской беседе с верным Басмановым Димитрий спрашивал совета:

— Делать что, Петр Федорович?

— Терпи, великий государь, окрепнет Русь, соберем силы. Лет пять мира — и казна твоя пополнится, войско устроим и по-другому заговорим с королем: не то что великим князем, а и кесарем назовет!

— А насчет похода на турецкого султана как мыслишь?

— Мечта это, государь, турки нас не трогают. Думаешь помогут короли? Деньги дадут? Полки свои вышлют? Как бы не так! Им бы только свару затеять. Чтобы мусульман воевать, надобно вначале крымского хана — подданного турецкого султана покорить. Нет, Димитрий Иванович, не возможно сие. Да и бояре хай поднимут. Шуйские и их присные под тебя, государь, подкопы ведут. Ты бы лучше панов из Москвы повыгонял. Вишь сколько воли они забрали, бесчинствуют. А с Ватиканом почто дружишь? Почто?..

Кручинился Димитрий, понимал умом — советы Басманова правильны, умом понимал, а душа страдала! Ему казалось, народ любит его, сочувствует ему. Он выезжал на улицу не в колымаге, а верхом на горячем белом коне, на приветствия москвичей отвечал вежливо, не скупился одаривать нищих, бросая им горсти серебра.

При молодом царе поощрялось купечество; их челобитные на мздоимство приказные разбирали сразу же; было прибавлено жалованье рядовым стрельцам.

— Димитрий Иванович, — рассуждали москвичи, — до старины не охоч и попустительствует ляхам, Литве и казакам.

Попы и монахи, недовольные патриархом-греком и невниманием царя к монастырям, твердили: не истинный он государь, Расстрига он, лях он — вот кто!

Осень сменилась зимою. Намело сугробов на улицах, по белесому небу ползли черные тучи. Уныло, скучно звонили колокола. Из царевых кружал несло угаром, квашеной капустой, рыбой и конопляным маслом. Шла первая неделя великого поста.

10. ОБРУЧЕНИЕ В КРАКОВЕ

10 ноября 1605 года.

Краков. Несмотря на сильный ветер и поземку, горожане с детьми заполнили узкие улицы. У кафедрального костела в парадных кирасах, крылатых шлемах, на гнедых конях вытянулся строй королевских гусар.

Внутри костел сиял сотнями свечей. Духовенство в белых кружевных стихарях возглавлял старый толстый архиепископ — кардинал в красной мантии. Скамьи костела заполнили важные паны в кунтушах, дамы в парчовых платьях, военные, бряцавшие серебряными шпорами, почетные горожане — купцы.

У костела на флагштоке подняли белое королевское знамя и желтое Московское с двуглавым орлом.

Весь этот торжественный спектакль был устроен в честь обручения панны Марины Юрьевны Мнишек с московским князем Димитрием. Жениха представлял Афанасий Власьев — высокий, с окладистой русой бородой, думный посольский дьяк. Он был в тяжелом бархатном кафтане, отороченном богатой собольей опушкой.

Наияснейший король Речи Посполитой Сигизмунд с надменным длинным лицом, закрученными вверх усами, с орденской цепью, усыпанной бриллиантами, изволил своим присутствием осчастливить сандомирского воеводу и его дочку.

Афанасий Власьев с неодобрением мрачно посматривал и на кардинала и на невесту царя.

Ах как великолепно была разодета панна Марина: вишневое платье с белой горностаевой накидкой, золотая коронка на пышно взбитых волосах!

Торжественно играл орган. Посла и Марину поставили на ковер перед алтарем. Кардинал спросил:

— Скажи, пан посол, не обещался ли милостивый князь московский Димитрий какой-либо другой девице?

Афанасий подумал.

— А мне как сие знать? О том мне в посольском приказе не наказывали.

Получилось замешательство, видно было, что такого ответа никто не ожидал. Кардинал колыхнул толстым животом:

— Отвечай, пан посол, не задерживай обручение.

— Чего ж вопрошаешь, пан кардинал? Неужто не понимаешь: ежели бы государь, царь Димитрий Иванович всея Руси, обещался другой невесте, разве бы послали меня в Краков?

Посол обвел строгим взглядом присутствующих, как бы удивляясь их глупости.

Ответ сочли благоприятным. Афанасий подал архи-

епископу на серебряном блюде два золотых обручальных кольца.

Кардинал надел кольцо на тонкий пальчик невесте, а другое Власьев завернул в шелковый плат. Стоял вытянувшись, чтобы — упаси боже — не задеть кафтаном платье невесты.

Марина гордо глядела на присутствующих. О! Теперь она, которую скоро повенчают в Московском кремле, будет царицей, ровня всем королевам и герцогиням. Теперь все эти разодетые пани будут именовать ее «ваше величество», и она, Марина, исполнит завет папы римского — приведет варварскую схизматическую Московию в лоно истинной католической церкви.

С негодованием смотрел Афанасий, как нареченная невеста государя всея Руси легкими шагами подошла к креслу, на котором восседал Сигизмунд и, опустившись на колени, облобызала королевскую длань. Афанасий даже глаза кулаком протер — не наваждение ли? Нет, стоит на коленях перед королем будущая царица, благодарит нежно.

— Ваша мосць, да дарует святая дева Мария вам, яснейший государь, долгих лет жизни! Клянусь, что в Московии буду верной послушницей ваших мудрых пожеланий.

Сигизмунд притворился растроганным, поднял Марину, поцеловал ее в лоб.

— Достоянная дочь пана Юрия, — произнес нарочито громко, чтобы слышали даже на задних скамьях. — Да сбудется над тобой благословение церкви. На престоле Московском не забывай, что ты польская шляхтенка и католичка.

Жители Кракова с восторженным любопытством глядели, как проехали в золоченых каретах сначала король, за ним Марина с Афанасием, а там и другие знатные вельможи.

Вечером король устроил ужин. Рядом с невестой сидел московский посол, грузный, скучный, и на вопрос Сигизмунда, почему пан посол только кубок вина пригубил, а ничего не кушает, поднялся, поклонился королю и невесте.

— Невместно слуге московского государя за одним столом с ее милостью нареченной невестой кушать. — Сказал как отрубил.

И тогда королевские гости решили, что московский

посол грубиян. Больше на Власьева внимания не обращали. Марина от удовольствия закатывала глазки, молодые хорунжии и корнеты целовали ее ручки. Пировали весело, до утра, по-шляхетски.

11. У АРЕЕВА ГОРЯЧАЯ ПОРА

Зима 1606 года прошла в Вологде спокойно. С уходом польских и литовских отрядов из Северного края под Москву в городе вновь появились иноземные гости с товарами да и свои купцы и монастырские приказчики. Начали снаряжать обозы на Ярославль и Москву. Склады наполнялись пушниной.

Мастерская Ареева теперь была полна заказов. Из разоренных храмов, из монастырей требовали присылки образов для церковных иконостасов и монастырских келий.

Келарь Кирилловского монастыря писал:

«Прошу тебя Григорий Антипов для бога ради исполнить святому монастырю Кириллову образы престольные святых благоверных князей Александра Ярославича, Бориса и Глеба, благоверной княгини Ольги, отец наших Косьмы и Демьяна и в келии иноческие малые образы...»

Далее следовал список святых.

Из Тотмы, из Устюжны и даже из Белозерска приезжали богомольцы за иконами.

Мастер писал иконы с тщанием, дабы не укорили его в небрежении. Молодые тоже старались по мере сил.

— Отдохните, ребята, — заставлял помощников, сам же допоздна при свечах не отходил от досок.

Как-то один богомолец из Москвы, старый знакомый Ареева, разговорился с ним.

— Вот ты, Григорий Антипыч, вопрошаешь о царе Митрии Ивановиче. Нету ему счастья. Многие на царя скалятся: мол, хочет Гришка Расстрига бояр извести, на их место ляхов посадить, костелы да лютеровы кирхи строить. Один стрелец боярский несусветное про царя сказывал. Стрельцы осерчали и потащили того вора к царю во дворец. Митрий Иванович вышел к ним смутный, пригорюнился: «С чего взял, что

я расстрига, кто на паскудные мысли навел?» — «Князя Василий Голицын да Василий Шуйский», — признался вор. «Лжа то, — молвил царь, — пусть судят стрельца выборные». — «Государь! — закричали стрельцы. — Мы твоего недруга сами засудим, чрева из него повынем!» — И тут же, выведя на кремлевский двор, сотворили ему конец.

— А князьям что было?

— Доверчив больно царь-то — князья в чести остались. Государь добр, невесту ждет из Литвы.

12. БОЯРСКИЙ ЗАГОВОР

Действительно, Димитрий с нетерпением ждал Марину. Эта худенькая маленькая гордячка спокойно жила то в Самборе, то в Кракове, принимала поклонение шляхетской молодежи и требовала из Москвы денег. Старый пан Юрий жаловался Димитрию:

— Оскудели мы, пан государь, много извели добра и денег на приданое и на обручение, окажи милость, вышли, сколь можешь.

Димитрий посылал богатые подарки в Самбор, не скупился.

Папа Павел Пятый, льстя самолюбию Димитрия, в жалованной грамоте давал ему титул императора, что по-русски значило — кесаря, и просил только об одном — о введении в Московии католичества, ибо «народ русский предан государям и охотно примет истинную веру».

Король Сигизмунд злился на папу: слишком учтиво обращается с московским господарчиком.

В Москве хитрый Василий Шуйский говорил царю:

— Поторопить след невесту, пошли, великий государь, посла к королю, пусть не задерживает Марину Юрьевну, требуй, ты ведь коронованный царь.

— Кого послать-то, боярин?

— Кого? — переспросил Шуйский. — Пошли стольника Ивана Безобразова, он роду хорошего, польские обычаи знает, тебе предан.

Это была тонко задуманная интрига. Безобразов находился в дружбе с Шуйскими и рад был бы свержению и гибели Гришки Расстриги.

Царь вручил Безобразову письмо к Сигизмунду с просьбой не задерживать пана Мнишка и панну Марину в Литве.

Бояре велели стольнику тайно переговорить с королем и гетманом Сапегой о самозванстве Димитрия.

В Кракове стольник на приватном свидании с дворецким канцлера Сапеги Гонсевским, бывавшим в Москве, говорил:

— Передай королю и канцлеру, что бояре Шуйские и Голицыны и еще много других знатных вельмож разуверились в Димитрии, поняли, что он не царевич, а плут и монах-расстрига, злодей и для нас бояр и для Речи Посполитой. Бояре готовы покончить с Расстригой и просить короля дать им в цари сына — королевича Владислава.

Сигизмунд отвечал, что и он жестоко обманулся, приняв Димитрия за царского сына, и не будет препятствовать боярам покончить с самозванцем. Насчет королевича Владислава не знает, это дело будущего, бог решит, как быть. Все, что сказано Безобразовым, король и Сапега сохраняют в тайне. Король даже приказал поскорее устроить выезд Марины.

Когда стольник явился в Москву с известием, что король отпускает на Русь царскую невесту, Димитрий подарил ему кошелек с золотом. А Шуйскому сказал:

— Чем тебе услужить, Василий Иванович?

Шуйский кланялся и просил пожаловать и ему в невесты Буйносову-Ростовскую.

— Сам сватом буду,— пообещал Димитрий.— Кой годок княжне?

— Шестнадцать, великий государь, в полной силе княжна!

Василию Ивановичу тогда было пятьдесят четыре года.

У Димитрия имелись друзья и среди польских офицеров, тех, кто служил честно, не запятнал свое воинское звание, не грабил и не уничтожал русских, тех, кто считал, что два народа славянского племени должны жить дружно, кто видел в молодом московском царе истинно храброго рыцаря. Таковы были братья Вучинские. Они предупреждали о двуличности Сигизмунда, умоляли царя не верить Шуйским. Один из

братьев жил в Кракове и часто пересылал письма Димитрию о настроении сенаторов и шляхты.

Димитрий благодарил Яна Бучинского, называл его милым братом, но продолжал бездействовать. «Что может грозить природному государю?» — спрашивал он себя. И отвечал: «Ничего».

В мартовскую ростепель в хоромашах Василия Ивановича Шуйского собрались бояре и дворяне — заговорщики якобы для пиროвания. Были тут и гости из Великого Новгорода — именитые купцы со своими сотниками, командирами вооруженных дружин для сопровождения, защиты и охраны новгородских товаров. Род Шуйских пользовался в Новгороде влиянием, Шуйские были противниками новгородского разорения Иваном Грозным, вели большую торговлю, в их вотчинах занимались выделкой шерсти и бараньих шкур, продажей мяса; обширные леса давали материал для строительства кораблей; лучший деготь поставляли Шуйские не только в Новгород, но и в Швейцарию и в Данию. Противники Шуйских дали им кличку «шубников». Они были своими для новгородцев, потому и согласились купцы участвовать в свержении самозванца.

— Можешь, княже Василий Иванович, иметь на нас надежду, для общего дела мы животами своими постоим, — говорил Анисим Меркулов, уважаемый старшина новгородский, поднимая кубок заморского вина.

— Храни тебя бог, Онисим Петрович, — благодарил Василий Иванович, низенький, подслеповатый, с седой бородкой. Он только казался стариком. Умный, хитрый, двуличный, скупой, суеверный, к тому же блудник, перепортивший десятки отроковиц-холопок, он был жесток и, когда требовали того обстоятельства, энергичен, как юноша.

— Потолковать след, кому после Расстриги царством владеть, великое титло царя всея Руси принять.

Князь Воротынский, задавший этот вопрос, посмотрел на Василия Васильевича Голицына — дебелого рыжего боярина, прямого потомка князей Патрикеевых из владетельного рода гедиминовичей.

Стольник Безобразов громко:

— Кому ж, как не Василию Ивановичу Шуйскому, природному юриковичу!

— Почему не Василию Васильевичу Голицыну? — волновался Воротынский. — Он муж совета!

— Опосля, господа бояре, рассуждать будем, когда Гришку изведем, — примирительно увещевал князь Сицкий. — Конечно, и Василий Васильевич и хозяин наш Василий Иванович кровей древних, владетельных кровей, из них и выберем государя.

— Выберем-то выберем, а до того надо взять с них клятвенную запись, что не будут гнев и опалу накладывать на боярские роды, что станут рядить все с согласия боярского, — говорил Шереметьев.

— Вотчины дворянам жаловать. Игнатия заточить в Соловки. На патриарший престол посадить казанского архиерея старца Гермогена, адаманта веры православной, — слышались голоса.

— Помещиков не забывать, — шумел дворянин Валуев, молодой, злобный детина.

— Сыск крестьян учинить на пятнадцать лет!

— Ин, ладно, — сказал Шуйский. — За советы благодарим дорогих гостей.

— Княже, а како иные бояре? — спросил стольник Урусов.

Шуйский тихо:

— Опутал проклятый Гришка неких: Михайло Глебыч Салтыков, князь Рубец-Мосальский, Богдан Вельский, князь Хворостинин и дьяк Афанасий Власьев за Расстригу. Но нас и без них хватит.

— Хватит! — поддержали. — Смерть Гришке!

Когда утихли споры, наметили день переворота после царской свадьбы. Договорились, где кому быть.

— Народ московский на панов сердит, по сему клич пустим... «Ляхи царя хотят погубить! Бей панов!» А для заварухи ослободим из тюрьмы бродяг. Пусть колобродят!

13. БЛАГОЛЕПНОЕ ЖИТЬЕ ЦАРИЦЫ

Царица Марфа — последняя законная жена Ивана Васильевича Грозного проживала в кельях московского Вознесенского женского монастыря. Испытавшая при Борисе Федоровиче Годунове всякое унижение и утеснение — приходилось ушивать свои изношенные ряски, питаться со страхом (яд могут по царскому ве-

лению подсыпать) постной скудной пищей, видеть ссылки и мучения родичей Нагих, — теперь чувствовала себя царицей-матушкой. Кушать изволила на серебре, мед и квас пить из золоченой чары, ряски носить персидского рытого бархата. Мать игуменья и старицы низко кланялись — так и переломятся, бояре и дворяне ездили с приношением. «Матушка! Царица милостивая!» — И к ручке Марфиной: чмок, чмок!

В храме монастырском кресло для нее поставлено, отец протопоп первой просфору подает, послушницы под ручки поддерживают нежно, ровно ангелочки, — все это почтение благодное приготовил ей сын послушный — царь-государь Димитрий Иванович.

Верила ли Марфа в подлинность сына? Способствовала ли его спасению от козней Бориса Годунова?

По ночам на мягкой перине, когда умиротворен свет лампадок перед божницей с кроткими ликами святых, молилась: «Не вмени, господи, рабе твоей в осужденье, что признала сыном другого, но сей Димитрий, яко сын кровный, тако ублажает, тако верит!» И не нашлось у нее силы сказать: «Чужой ты мне!» Сама же на своих руках, кои истинный сын к сердцу прижимал, несла теплый еще трупик Мити, царевича Угличского. Как скажешь? И брат Михаил Нагой твердил: «Признай, сестрица, сынка, он нашему роду защитник и покровитель».

Ворочалась на постели.

— Ох, ох, — крестила рот. — Помилуй меня, Иисусе Христе!

Думала о царе с приязнью. Димитрий часто с нею и дядьями Нагими советовался. По ее совету удалили дочку ненавистного Бориса. Поиграл — да и в дальнюю келью. По ее и братьев совету сослал Димитрий слепого старика Симеона Бекбулатовича, того, что при Иване Васильевиче был назначен великим князем и ведал московской земщиной. В Кириллове Симеона постригли в иноки, и стал он неопасным старцем Стефаном. А кто вспомнил про отрока Михаила Романова, что с теткой при Борисе томился в Горицах? Кто их вызволил?

Засыпала царица Марфа с приятностью, ибо знала, проснется утречком и явятся перед ее светлые очи монахини: «Како спалось, матушка-государыня?» Тихо и добро жилось царице Марфе.

Только отошла заутреня, приехал Димитрий Иванович:

— Матушка, к твоей милости с вестью радостной. Весна идет во двор, а к нам невеста жалуется, Марина Юрьевна. Тебе покорной дочкой, а мне женою будет, прими ее ласково.

— Твое дело, Митя, твое, одного опасаюсь: католичка — невеста, в Литве обучена, а привыкать к нашему православному ей трудно будет.

— Марина соблюдать обычаи московские станет.

— Станет ли, сынок? Мотри, народ осуждать зачнет, худа бы какого не вышло. Тебе совет подам — до свадьбы учини Марине православное крещение и пусть нарекут ее имячком не Марина, а Мария, тогда все ладно станет.

— Сие, матушка, невозможно, — решительно произнес Димитрий.

Простился и уехал.

Сидела в кресле царица, глядела в оконце: послушницы во дворе кормили ячменем важных зобатых голубей; голуби гуркали, ходили на красных лапках спесиво — чистые бояре!..

Отвернулась от окна Марфа — ну их к ляду, голубей-то!

14. «НЕХ ЖИЕ ПАННА МАРИНА!»

Весна переливалась молодой зеленью и птичьим гомоном. Солнце отражалось на серебряных и золоченых кольчугах польских и литовских жолнеров, гусар, рыцарей шляхтичей. Ах, сколько их понаехало на свадьбу московского царя и панны Марины — не сосчитать! Впереди музыканты на серых конях: оглушительно звенели литавры, пели трубы, дробью били барабаны разных размеров из лучшей телячьей кожи. Барабанчики — хваты, усы котячьи, глаза бесстыжие. Дарр!.. бар!.. дарр!.. Нех жие Речи Посполита, что посадила на кремлевский трон Димитрия! Нех жие панна Марина!

Спесивились паны на белых и вороних конях, покрытых дорогими попонами. И чего только не надели на себя гости! И плащи с оторочкой, и жупаны с зо-

лотыми позументами, и перевязи с брабантскими кружевами, и сапожки сафьяновые, и сабли в серебряных ножнах... Развеваются на ветерке штандарты с дворянскими гербами, скачут рыцари, из пистолей в небо палят. В каретах послы королевские Олесницкий и Гонсевский, в шляпах с перьями, за ними свита, целый полк — словно в завоеванную столицу вступили победителями.

— Нех жие Речь Посполита!

— Нех жие круль Сигизмунд!

— Нех жие господарь Димитрий!

— Нех жие Марина Юрьевна!

Москвичи толпились на улицах, дивились на панов. Ух, сколько гостей! И для ча государю така тьма?..

В Кремле и Белом городе стрельцы спешно выселяли из купеческих и поповских домов хозяев — готовили квартиры для приезжих гостей.

— Куда же мы, братцы? — спрашивали выселяемые. — Где ж нам головы преклонить?

— Поживите у родни, у свойственников, мы тут ни при чем, мы подневольные, — отвечали стрельцы, жалея хозяев.

И те, забрав ценные вещи (все-то зараз не унести), с семьями перебирались к знакомцам на окраины.

Пан Мнишек приехал раньше дочери, а она 2 мая остановилась в Вознесенском монастыре, чтобы предстать царице Марфе. Та приняла Марину вежливо, с поджатыми губами, без особой приязни. Спросила о здравии и, пожелав счастья, отпустила.

Марину, ехавшую в карете, сопровождал сам царь. Влюбленно глядел в окно на невесту, а она махала ему платочком. За панной Мариной — еще кареты, и в них придворные дамы, иезуиты, ксендзы.

По улицам шастали приверженцы Шуйских и Голицыных. Уже в царских кружалах за оловянными чарками вина шепотки:

— Изничтожить царь Расстрига хочет бояр и купцов, для того ляхи и казаки атамана Корелы тут.

— Нам бояре ни к чему! — заплетались языки у подвыпивших посадских.

— И ляхи ни к чему!

— Василий Иванович добра народу хочет, жалеет вас, православные.

- Жалел волк овчу, да и слопал!
- Ограбят Москву козаки и ляхи!
- Окромя портков да дыр взять с нас, бобылей, нечего. Топоры еще есть, да не про вашу честь, когда гости надоедят, и спровадить их можно.

15. НАКАНУНЕ НИКОЛИНА ДНЯ

— Коханая моя! — очутившись наедине с Мариной в ее покоях говорил Димитрий. — Когда повелишь свадьбу играть? Все уже подготовлено. — Он раскрыл объятья.

Но Марина шаловливо приложила пальчик к губам.

— Только в брачную ночь, ваше величество. В ваши сильные объятья попадет не панна Мнишек, а царица Марина. Свадьбу назначьте на 8 мая.

8 мая было накануне особо чтимого православными праздника святого Миколы, Николая Чудотворца, и никогда в такой день браки не заключались. Но нетерпение царя было велико, а Василий Голицын сказал:

— Никола не обессудит.

— Не обессудит, то его святая воля, — возразил Басманов, — а народ православный сего не поймет.

— Народ-то, воевода, дышло, куда повернешь, туда и вышло, — хихикнул Шуйский.

8 мая в присутствии трех тысяч гостей состоялась пышная свадьба. В небо взвивались потешные огни, стреляли пушки, грохотала музыка. После столованья были танцы и машкерад в невиданных звериных масках. Народ же московский в Кремль не пустили, не хватило православным на царском празднике места. Бочки вина и пива вынесли на улицы; угощались москвичи без веселья, скучно угощались.

*
* *
*

— Теперь я царица и твоя жена, — Марина обняла за шею мужа.

Димитрий слишком долго ждал брачной ночи, и у

него уже перегорела страсть. Он ласкал Марину, она отвечала на его порыв, но ему казалось, что это не то, что должно было свершиться, — не то счастье, о котором мечтал. Лежа с молодым мужем, Марина не забывала своей главной цели — стать первой русской царицей, приведшей Московию к истинной вере, и настойчиво шептала:

— Сверши подвиг, мой милый, стань великим кесарем.

На следующий день Марина перешла в отдельную опочивальню, окружила себя пышной свитой из гофмейстерин, красивых придворных дам, юных пажей и бритых ксендзов, иезуитов.

А гости в Москве творили безобразия. По ночам начинались стрельба, галдеж, музыка. На улицах шляхтичи не давали прохода москвичам, задирали их, хватали женщин, тащили в подворотни, забыв всякий стыд.

Стрелецкий полковник Гвоздилин по утрам докладывал Басманову:

— Вчерась пан Малаховский и его слуги избили купца Василия Петрова — не продал он им в долг сукна. Разгромили лавку, обесчестили купеческую жену.

Царь велел пана Малаховского арестовать, публично наказать ста батогами, купцу за бесчестье отдать все достояние пана.

— Ой, пан царь, — сказал Димитрию региментарь Иосиф Будзило, в чьем полку служил Малаховский, — не брани моих офицеров, ничего не убудет от москалек, офицер пошутил, приласкал купчиху, а купец гонору шляхетскому не поверил.

Когда стрельцы вели в тюрьму Малаховского, поляки отбили его у стражи. Димитрий ничего не смог с ними поделаться. Марина же выговаривала:

— Разве можно так с гостями поступать?

Помилованные ради царской свадьбы и выпущенные «для царева здравия» преступники расплозились по городу. Их грабежи отнесли тоже за счет гостей.

Москвичи притаились. Москва выжидала.

К этому времени к Москве подходили два полка новгородцев и псковичей. Не только чтобы поздравить царя, а и по приказанию московских воевод.

13 мая Шуйский ночью собрал новгородских стар-

шин и своих приспешников, оповестил их, что через два дня свершится божий суд над еретиком.

— Я для спасения православной веры готов на все, лишь бы вы, милостивцы, помогли мне усердно. Объявите воям вашим, что царь-самозванец с Маринкой и поляками замышляет зло.

Решено было: как раздастся набатный колокол, идти заговорщикам во дворец, восклицая: «Поляки царя режут!», окружить Димитрия якобы для защиты и убить его. Немцев, швейцарцев — охрану дворцовую — распустить по домам, их не трогать: швейцарцы верно служили и Борису и Расстриге — они и новому царю пригодятся. Поляков уничтожать, дома, где они живут, заранее знаками отметить.

*
* *
*

Царь же ничего не желал слышать. Посол Гонсевский, умный и бравый рыцарь, расположенный к Димитрию, убеждал.

— Бояре против тебя, пан господарь, и против нас народ возмущают. Прими меры.

Командир швейцарцев письменно доносил о заговоре. Князь Хворостинин советовал не распускать на праздник швейцарцев и ввести в кремлевский дворец преданных стрельцов Казаринова.

Бояре же смеялись:

— Не верь, великий государь, трусам — кто противу тебя поднимется? Празднуй месяц свой брачный. Мы горой стоим.

И праздновал царь, даже повелел доносчиков наказывать, а их письма рвать. Потеху ратную придумал: построили у Сретенских ворот деревянную крепостицу для приступа и примерного сражения.

Наслушавшись пьяных разговоров и напившись zelo до помрачения, кузнец с Бронной улицы Пров Трапезников явился во дворец и упал в ноги.

— Государь молодой, Митрий Иванович, погубить тебя хотят, все позорят, Гришкой, сыном Отрепьева, называют. Поберегись, государь, гони гостей из Москвы, сам же, батюшка, беги до Сергиевой лавры, хоронись там от боярской беды за крепкими стенами.

Вашей вытолкали кузнеца стольники:

— Пойдь, проспись, дурень!

— Я-то не дурень,— кричал Трапезников, — вы — государю враги, боярам потатчики...

Димитрий готовился к воинской забаве, примерял серебряные доспехи, обедал под музыку литовских трубачей, а вечерами на придворном балу худенькая грациозная Марина очаровывала гостей.

16. КОНЧИЛОСЬ ДИМИТРИЕВО ЦАРСТВО

И наступила короткая белесая ночь, с 15 на 16 мая. Ударил набатный колокол, и по всей Москве зловец загудели колокола — они гудели похоронно, страшно...

В Белом городе в окружении мятежников, вооруженных саблями, ножами, пищалями, появился на черном коне тщедушный Василий Иванович Шуйский — в правой руке меч, в левой — крест.

— Детушки! Поляки государя убивают! Бей ляхов! Оградим Москву от супостатов!

С криком, с гиком ворвались сотни мятежников в Кремль, заняли подходы ко дворцу.

Алебардчики-швейцарцы встретили толпу, выставив колючим забором алебарды.

— Немцев не трогать! — отдал приказ Шуйский. — Их вон горстка! Сдавайтесь, лютеры!

— Нихт! — ответили смело.

С ними больше не разговаривали, скопом бросились на копья, поломали алебарды, разоружили швейцарцев.

На шум выскочил Петр Федорович Басманов.

— Опомнитесь, люди! На кого поднялись? На царя, помазанника божия!

— Не царь он! — Полезли на воеводу, дыша вином и чесноком.

Басманов кинулся в опочивальню Димитрия.

— Государь, беда! Спасайся, Димитрий Иванович! Крамола боярская!

В толпе кричали:

— Где Гришка? Где латинский выкормыш? Пронулся ли безвременный царь?

Обнажив палаш, Димитрий вышел на крыльцо к мятежникам.

— Я вам не Федор Годунов!

Раздались выстрелы из пищалей, и царь удалился.

— Не троньте государя! — Басманов храбро защищал вход во дворец. Увидев Василия Голицына, сказал:

— Не выдавайте убивцам Димитрия Ивановича, не берите греха на душу! — Среди дворян заметил Татищева. Подошел к нему: — Спас тебя от опалы. Выслушай, друг!

— Подождь, воевода, выслушаю. — Татищев вынул охотничий нож. — Получай сполна! — И вонзил его по рукоять в сердце Басманова.

— Выбрось падаль! — распорядился Голицын.

Труп Басманова раскачали и сбросили с крыльца. Царь метался по палатам. Надо предупредить Марину.

В опочивальне царицы — испуганная Марина и дрожащие фрейлины.

— Спрячьте государыню! — И побежал Димитрий по переходам.

А по двору уже стремительно неслась толпа, ничего не соображая, требуя только крови. Увидели литовских музыкантов — побили их и дальше...

— Где царица? — Ворвались в опочивальню.

Худенькая Марина спряталась под пышные юбки толстой гофмейстерины пани Мосальской.

— Не вем, панове, — заплакали женщины. — Смилюйтесь до нас!

— Ух, мать честная! — Остановились, рассматривая женщин. — Катай их!

Ухватили молодых, щупали, валили на ковры, грубо срывая одежды.

— Ратуйте! — взывали несчастные.

На помощь пришел боярин Воротынский с отрядом холопов с пищалами. Разогнали насильников.

Благодарили паненки, целовали руку Воротынскому. Вылезшей из-под юбок Марине боярин сказал ласково:

— Ты, Марина Юрьевна, не сомневайся, ничего тебе не будет. Не бойтесь и вы, девки, обороним.

Воротынский запер на ключ дверь и поставил стражу. Сам же пошел к Шуйскому.

Тот сидел в царских покоях в кресле. Около него

теснились бояре, сотники, старшины, внимали каждому слову.

— Расстригу кончайте! — подслеповато покосился на Голицына. — Убежит Гришка, тогда полетят с плахи наши головы.

Царь несся по переходам. Он был молод, ему хотелось жить. Увидел раскрытое окно, под окном помост деревянный, на котором в свадьбу играли музыканты. Вскочил на пролом, сердце замерло: «Высоко, расшибусь!.. Нет, миловал господь!..» С одного помоста на другой... Прыгнул неудачно: нога подвернулась — и с помоста на землю грудью. «Ой как больно!» На миг потерял сознание, очнулся, застонал. «Кажись, нога сломана! Ой горе, горе!» Ближний караул стрельцов услышал: вроде кто-то стонет. Увидели — царь лежит. Принесли ведро воды, облили лицо, прислонили спиной к помосту.

— Государь, не страшись, мы не выдадим.

— Стрельцы! — взмолился Димитрий. — Защитите! Отдам вам всю рухлядь изменников, все добро ихнее.

— Не выдадим. Полежи тут до утречка, а там перенесем и укроем.

Вдохнул легче. Хоть и больно, а все же рядом защитники.

Во дворце шум, свет в окнах, крики, стрельба.

Вот и сюда бегут. Много бежит разбойников.

— Стрельцы! Выдавай Гришку!

Стрельцы сомкнули ряды, дали залп из пищалей.

Толпа отпрянула. Кто-то закричал:

— Убили, убили!

Появился Шуйский со свитой. Не спеша остановился, поднял крест.

— Василий Иванович! — застонал Димитрий. — Помоги!

Шуйский не ответил, откашлялся и к стрельцам:

— Стрельцы! Выдайте сего обманщика Расстригу! Его суд божий ждет.

Стрельцы стали переговариваться.

— Пущай царица Марфа подтвердит, сын он ей али нет.

Стольник Степан Бутурлин сел на коня, прищпорил, помчался в монастырь — благо он тут же рядом.

Мятежники осмелели. Какой-то купеческий приказчик ухватил царя за волосы, приподнял.

— Ответствуй, Гришка, чей ты сын? — И бац кулаком по лицу.

Димитрий с трудом ворочал языком:

— Сами знаете, сын царя Ивана Васильевича.

Ударили еще по щеке, голова мотнулась.

Димитрий закрыл набрякшие веки, понял — не будет пощады.

И тогда Шуйский поднял крест.

— Кончайте Расстригу.

— Вот я угощу свистуна! — Дворянин Валуев выстрелил в Димитрия. Тот схватился рукой за сердце, дернулся и замолк.

Набросились. Озверело топтали сапогами, плясали на теле — любо!

Привезли Марфу. Та с ужасом взглянула на труп, отвернулась.

— Спрашивали бы, когда жив был. Не мой сын теперь, не мой.

Поволокли тело за ноги на Лобное место. Надели на изуродованное лицо Димитрия — сплошное кровавое месиво свиную маску и воткнули в рот свистульку.

Принесли и труп Басманова, положили к ногам царя — пусть охраняет Расстригу.

В Москве крик, плач, стрельба — бьют гостей, те защищаются. На улицах в канавах раздетые трупы.

Шуйский наконец решил остановить кровопролитие. Двинулись по улицам воинские отряды, гнали и рубили мятежников. Оставшихся в живых поляков собирали по домам, ставили караулы. У посольского двора, где жили послы, — конная застава.

Басманова погребли у церкви Николы Мокрого, а Димитрия за Серпуховскими воротами. Но вскоре по боярскому решению вынули из могилы, сожгли, пепел смешали с землей и порохом, заложили в пушку и выстрелили в сторону Польши.

Кончилось Димитриево царство.

*

* * *

Выкрикнули дворяне, купцы и сотники на Красной площади царем-государем Василия Ивановича Шуйского.

Наступило боярское царство.

А в народе прошла молва: убили не настоящего Димитрия. Почто лица не казали? Почто машкерадную маску свиную надели? Скажется еще Димитрий Иванович! Ой как скажется!

17. АРЕЕВ СЛУЖИТ ПАНИХИДУ

В Вологду весть об убийстве Димитрия и об избрании на престол Василия Шуйского пришла 20 мая.

Приняли сие известие служилые дворяне, купцы и иноземцы, что имели свои лавки и склады, не то чтобы радостно (радоваться нечему, лишь бы жить можно было и свои прибитки беречь), а спокойно.

Григорий Антипыч Ареев пожалел Димитрия Ивановича, пожалел и воеводу Петра Федоровича Басманова.

Отслужил в приходской церкви на Ленивом торгу панихиду по рабам Божиим Димитрию и Петру. Священник отец Гавриил спросил:

— Не по Гришке ли заупокойные свечи ставишь?

На каверзный вопрос Ареев ответил:

— Ты, отец Гавриил, сполный дело поповское.

Поп испугался: сердитый прихожанин, а тороватый, деньги дает, иконы — задаром. Загундосил:

— Да что ты, свет Григорий Антипыч, по мне хучь за кого молись! — и истово отслужил панихиду, ладану в кадила не пожалел, всю церкву чудным запахом наполнил.

Если Вологда, Устюг, Тотьма сдержанно приняли известие о воцарении Василия Шуйского, то южные города, через которые год назад двигался Димитрий, — Сумы, Кромы, Елец враз отказали новому царю.

— Нам бояре и Васька — козел вонючий ни к чему, мы за Димитрия стоим, боярам крамольникам не потатчики.

Царь Василий вынужден был в присутствии боярской думы дать крестную запись. Бояре знали двуличность Шуйского и потребовали ясность во всех пунктах обязательства.

— Я вам, великородные, яко старшой брат, а не самодержец буду и из воли вашей не выйду.

— Ты, Василий Иванович, не хитри,— злобился Василий Васильевич Голицын, не спесивься, сполняй волю думскую.

В думу пришли и торговые люди, ведь и они на Красной площади выкрикнули Шуйского в цари, поэтому и требовали себе поблажки.

Пришлось дать запись.

«...Поволил есми яз целовати крест на том, что мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом с бояры своими, смерти не предати...»

В Москву шли тревожные вести о том, что Рязань, Поволжье и Мордва не признают Василия царем. Не признали также Вятка и Пермь.

Через две недели после провозглашения Шуйского царем москвичи и стрельцы двух полков собрались на Красную площадь и потребовали, чтобы Василий Иванович подтвердил, истинно ли Димитрий был Гришкой Расстригой, латинским прихвостнем. Дерзко кричали:

— Дай послабление народу, не дави поборами!

Чуть не плакал от досады царь:

— Дайте срок, облегчу людям их участь, водворю в царстве покой и справедливый суд, не буду без вины ни на кого опалы класть.

А пока, по совету бояр, царь разослал воеводами в разные города тех бояр и окольных, кто верно служил Расстриге.

Патриарха, чернобородого грека Игнатия, посадили с позором на простую телегу и из Чудова монастыря поганой метлой прогнали. Временно исполнять обязанности патриарха стал Филарет Романов.

18. ЦАРЬ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ШУЙСКИЙ

1 июня 1606 года венчали шапкой Мономаха на царство Василия Ивановича, вручив ему скипетр и державу.

Архидьякон Савелий натужно провозгласил:

— Великому государю, царю и великому князю Василию Ивановичу всея Руси многая лета!

Патриарший хор трижды пропел:

— Многая лета!

2 июня в московский Архангельский собор из Углича перенесли останки царевича Димитрия, объявленного святым. Обряд прославления невинно убиенного отрока Димитрия Угличского совершил митрополит Филарет Романов.

Москвичи стояли толпами, когда несли раку с мощами царевича, смотрели, крестились, не знали, верить или не верить: в раке ли царевич Димитрий аль это тот, кого зарезали по ошибке,— подменное дитя. Но кто бы это ни был — все равно мученик, все равно смерть от лютого заклятия принял. Царство ему небесное!

Царица Марфа, в черной рясе, с наметкой на лице, усердно на коленях молилась. Перед ракой — икона с изображением Димитрия убиенного, исполненная иконниками Троице-Сергиевской лавры. Молящиеся смотрели на Марфу неодобрительно — сума переметная, вдовица-то.

Царь Василий рядом с Марфой, тоже на коленях. За ними бояре, окольниковичи, дворяне, купцы, у каждого в левой руке зажженная свеча, каждый ожидает милостей от святого мученика царевича Димитрия, новоявленного чудотворца.

Оставалось еще утвердить патриарха.

Архиереи, собравшись в Кремле, выбрали патриархом — вторым лицом в государстве митрополита казанского Гермогена, старца велеречивого, властолюбивого, смелого и православной веры истинного стоятеля.

Гермоген к царю Василию отнесся гордо: не люб был патриарху Шуйский по всем статьям. Царь перед Гермогеном расстился:

— Твоими молитвами и советами, владыка, жить буду.

— Не моими советами жить надобно,— сурово отвечал Гермоген,— а всех православных христиан. Над ними ты, царь Василий, яко отец, поставлен, но помни, грехов и тебе перед богом не сосчитать.

Царь Василий посетил келью Марфы. Сел в кресло и долго молчал. Был он усталый, сидел, вздыхая.

— Слышь-ка, честная вдовица! — Он так пристально взглянул на Марфу, что та растерялась.— Отписку сделай для православных, раскрой в грамоте лжу Гришкину, он де запугал тебя.

— Да сам ты, батюшка царь, мово старшего брата

из конюших бояр разжаловал, в рядовые поставил. ниже Ситских, Давыдовых, Пушкиных и Вельяминовых, а Нагие-то — дядья царевича.

— А ты похотела Нагих выше Мстиславских, Шуйских, Романовых поставить? — ехидно спросил Василий Иванович.

— Те роды не ровня нам, убогим, те издревле бояре и князья, а ниже Вельяминовых Нагим не быть, так и знай, государь!

— Ин ладно, не о том ныне речь. Вот тебе сказ: тута дьяк Муромцев составил от твоего имени о злокознях Гришки Отрепьева послание.

Василий вынул из кафтана грамоту.

— Перо-то гусиное в келье имеешь?

— И перо, и чернильница, и песок на столешнице. Аль не видишь?

— Подпиши, царица.

— Ты вначале, государь, прочти.

— У меня очи больные, да и читать недосуг, писали-то люди умнее тебя.

— Знаешь ли, Василий Иванович, о том, кто мя, грешную, впервые на грех натолкнул? Кто от Расстриги посланцем был? Кто в Москву переправил?

— То не важно, Марфа, забыть след.

— А не потому ли, государь, забыть, что посланцем от Гришки был твой племяш, молодой воевода князь Михайло Васильевич Скопин-Шуйский? Князя Михаила жаловал Расстрига-то, похвалял ратное его умение.

— Не касаемо то в грамоте. Не своеволь, Марфа, управу на тебя найду. Сплачешь, вдовица, горячими слезами, да и братьев твоих, дураков стоеросовых, разошло по сибирским крепостцам.

Марфа насупилась, нервно перебирала четки.

— Обманешь, царь-батюшка! Подпишу, а ты все едино опалу на нас наложишь, а?

— Слову царскому верь, Марфа, не обману.— Выложил на столешницу грамоту, придвинул к Марфе чернильницу и перо.— Не задерживай, царица.

Марфа, медленно двигая пером по грамоте, подписала.

— Ну, прощевай, Марфа. Живи, да не греши. Смотри, чтоб тебя какой ни на есть молодец аль монах не прельстил!

— Тьфу ты! — заплевалась царица, закрести-

лась.— Окстись, государь! Ты на юнице женат, вот и приходят к тебе мысли прелюбные...

Царь Василий не обратил внимания на эти слова. Довольный тем, что добился подписи Марфы, быстро вышел из кельи. За стенами монастыря его ждали карета и воины на конях.

Марфа же ходила мелкими шажками по келье, сомневалась, не прогадала ли: «Царь-то наш все одно, что налим, голыми руками не ухватишь...»

Василий Иванович велел разослать по городам послание Марфы, где говорилось о Димитрии, что «...он ведовством и чернокнижеством назвал себя сыном царя Ивана Васильевича, омрачением бесовским прельстил в Польше и Литве многих людей и нас самих и родственников наших устрасил смертью... Говорил нам с великим запретом, чтобы мне его не обличать, и посадил меня в монастырь, и приставил ко мне также своих советников, чтоб его воровство было не явно, а я для его угрозы объявить в народе его воровство не смела».

Появилось и другое сочинение, якобы составленное иноком Варлаамом, который, дескать, с Расстригой из Руси ходил в Литву и знал все его воровские дела до прихода в Москву.

Послания читали, переписывали, веры же им не давали.

Посольский приказ собрал все эти документы и направил в Краков королю Сигизмунду с полномочными послами для сообщения о вступлении на престол рюриковича — царя Василия Шуйского.

А новый патриарх Гермоген, когда царь после обедни подошел под благословение, не сказал, а приказал:

— Перенеси, государь, прах Годуновых, зарытых аки собаки, в Троице-Сергиев и пускай царевна Ксения его сопровождает. Борис и его сын Федор законными были царями.

Василий Иванович послал возок и стрельцов в Горичский монастырь. Когда привезли Ксению в Москву, то царь со своей юной царицей приняли ее, инокиню Ольгу, почетно, спросили, где жить намерена. Обещали пожаловать для прокорма ей вотчину, но она отказалась от мирской жизни. Бледная, с лихорадочно блестящими глазами, она упросила царя разрешить ей остатние годы провести в лавре у дорогих гробниц.

Патриарх Гермоген ласково напутствовал царевну:
— Бог ты призрит, сестра Ольга, ради твоих мучений.

И шла Ксения в сопровождении монахинь и духовенства за гробами Годуновых, шла и плакала о своей загубленной юности.

19. ГОРОД ЕЛЕЦ ВОЛНУЕТСЯ

Промашку дали царь Василий и бояре, разслав сразу же после переворота верных Расстриге воевод и дьяков по дальним городам. Один из них, молодой князь Григорий Петрович Шаховской, сосланный воеводой в Путивль, увез с собой доверенную ему Дмитрием царскую печать, объявив путивлевским стрельцам и жителям о спасении государя. Города и крепостицы, не присягнувшие Василию, стали собираться вокруг Шаховского. Черниговский воевода князь Андрей Телятевский предоставил в его распоряжение свои полки.

Никакие увещания присланных Василием представителей духовенства, бояр и стольников не действовали. В город Елец прибыл старший брат царицы Марфы — боярин Михаил Нагой с грамотой от вдовицы, с ним попы и монахи с иконами новоявленного чудотворца Дмитрия Угличского.

Собрали сход на площади.

Михаил Нагой в парчовом кафтане и собольей боярской шапке стукнул по соборной паперти тростью.

— Православные! Покоритесь богоизбранному царю и великому князю всея Руси Василию Ивановичу. Отриньтесь от Гришки Отрепьева, послушайте, что пишет смиренная вдовица царица Марфа. Поклонитесь образу святого Дмитрия — царевича, чьи мощи в Архангельском соборе благолепно почивают.

Толстый боярин обвел толпу взглядом и продолжал:

— Целуйте крест на верность царю Василию, а он, милостивец, вас пожалует. Отец протопоп, зачти слова праведной царицы Марфы!

Только стал протопоп вычитывать грамоту, как на паперть вскочили елецкие граждане и зачали безо-

бразно гнать посланцев царя. Выхватили из рук Михаила Нагого трость и огрели ею спесивого боярина по ребрам. Досталось и остальным боярам и протопопу долгогривому. Едва ноги унесли посланцы Шуйского.

Елец—город достаточный, там и запасов хлебных и воинских много. Крепкий город, не подступиться к нему.

Царь Василий в боярской думе грозно на Михаила Нагого кричал:

— Голова твоя, боярин, кочанная! Не мог ты государева приказа исполнить! Что делать будем, бояре?

Василий Васильевич Голицын, сам желавший на Москве царем быть, и его присные в душе радовались: невезучий царь Василий, не представительный государь! Где ему, шубнику, с мятежом справиться!

Други царя посоветовали:

— Пошли, государь великий, сильную рать на Елец, разобьем его и войско изменника Гришки Шаховского, тогда по-иному дело обернется.

Так и присудила дума—воевать смутьянов. Войско послали большое во главе с боярином Воротынским. Из похода, однако, ничего не получилось: разбили воеводу и он, потеряв пушки и обоз, возвратился в Москву.

20. ИЗОГРАФ СНОВА В МОСКВЕ

Григория Антипыча снова вызвали в Москву. Принимал тот же дьяк, что и при царе Димитрии,—Фрол Матвеевич.

Ареев поклонился дьяку позолоченной иконой, в ризу которой были вставлены уральские самоцветы, и тот учтиво пригласил его сесть на лавку и после слов благодарности за подарок сказал ласково:

— Григорий Антипыч, тебе, царскому изографу, должно выполнить по сему образцу—можешь ради художества внести некие поправки—подряд большой. Иконы царевича Димитрия—святого чудотворца в краткий срок нужны. Возьми роспись размеров и получи задаток. А засим прошу вечером посетить мое подворье.

На дому дьяк оказался разговорчивым, поведал

подробно о свержении Димитрия, а потом, вздохнув, подергал себя за мочалистую бородавку:

— Ежели по правде сказать, друг любезный Антипыч, то никто ничего не разумеет — шатанье великое в народе московском. Царя Василия не любят, хитрит государь, все кляузы собирает, ведунами да гадальщиками себя окружил — на потрохах черного петуха гадает. Разве это царское занятие?

— Чего же ожидать, Фрол Матвеевич, яви божескую милость, скажи.

— Ожидать, Антипыч, доброго нельзя. Мне знакомы дьяки из иных приказов, от них ведаю: поборы с городов в казну задерживаются, пушнину купцы из Вологды, сам знаешь, не везут, хоронят. Не только Путивль, Елец, Чернигов, а и дальняя земля Астраханская не похотели царю Василию крест целовать. Хлебная сторона Поволжская Димитрия выжидает. Гряд дьяки, объявился там некий царевич Петрушка — за сына царя Федора Ивановича вор себя выдает.

Фрол Матвеевич поморщился, выпил черепушку крепкого вина, пожевал без аппетита кусок буженны.

— Тута при Расстриге служил боярский сын Михайло Молчанов. Царь Борис наказал его плетью за провинности, так сей Молчанов помог боярину Мосальскому с Федором Борисовичем Годуновым покончить.

— Суций аспид! — вскричал Ареев. — Попускает же господь извергам!

— Ты не перебивай, Григорий, послушай, что дальше-то было. После смерти Расстриги ушел Михайло в Литву, зачал там воду мутить, грамотки засылать в Москву: жив-де царь Димитрий Иванович и в стольный град в недалеком времени прибудет.

*

* * *

Михайло Молчанов не захотел принять на себя имя Димитрия — и годами он постарше и ведом московским стрельцам, но наместником царя себя назвал, в Литве жил припеваючи, пользовался доверием шляхтичей, обещал им вотчины на Руси.

В ту пору из Венецианской республики пробрался в Литву беглый холоп князей Телятевских Иван Болотников. Был он в цвете лет, собою высок, строен,

глаза соколиные, смелые, своим обращением любого боярина за пояс заткнет. Вот он и явился к Молчанову.

Побеседовав с Болотниковым, Молчанов убедился в его способностях и послал с объявлением о спасении Димитрия к Шаховскому. Не по душе пришелся Ивану Молчанов — заносчив, горд и панов слушается:

— Смотри, господине, в оба, наобещаешь с трико-роба шляхтичам — их и так еще на Руси довольно осталось, — горе наживешь!

— Ты, Иван, в те дела не входи. Тебе след ехать в Путивль и быть под рукою нашего доброхота князя Шаховского.

Распрощались холодно.

Шаховской принял хорошо Ивана Исаевича Болотникова. Дал ему чин «большого воеводы» и указ о том царской печатью припечатал.

21. НАРОДНЫЙ ВОЖДЬ БОЛОТНИКОВ

И тут начинается удивительная и славная эпопея Болотникова.

Наконец-то появился у обездоленных крестьян истинный вождь. Он встал во главе народного войска, чтобы покончить с несправедливостью боярской, отменить несправедливые налоги, запретить возвращать помещикам беглых холопов и мужиков, отобрать от богатых монастырей земли и раздать их неимущим крестьянам.

Иван Исаевич ввел в своих отрядах жесткую дисциплину. Болотников разрешил отбирать у бояр вотчины для пропитания и снабжения войска, а ненавистных судить народным судом.

Церковная летопись повествует: «...Собрахуса боярские люди и крестьяне, с ними же пристаху украинские посадские люди и стрельцы и козаки, и начаша по градам воеводы имать и сажати по темницам, бояр же своих дома разоряху и животы грабяху...»

На реке Оке стояла вотчина помещика Валуева. За крепкими бревенчатыми стенами — дом боярский с конюшнями и хлевами, богатый двор. Старик Валуев беспощадно обращался с холопами и мужиками,

тяготил их работой и поборами, наказывал за малую провинность.

В войске Болотникова были беглые из валуевской вотчины; просились они у главного воеводы не обходить стороною злого помещика, а разорить и сжечь ненавистную усадьбу. Болотников выделил конных воинов и сам возглавил отряд.

Долго сопротивлялись Валуев и его слуги натиску отряда. Боярин пять человек уложил из пищали, ругался, взобравшись на бревенчатую стену:

— Воры! Холопы безмозглые! Вашего Гришку Расстригу мой сын, стольник царя Василия, прикончил, с позором за ноги из Кремля вытащил проклятого еретика!

Иван Исаевич велел приступом взять боярский двор. По бревнышкам растащили стену, подожгли хоромы крепкие, коней и скотину угнали, помещика, его жену и дочку связали и привели к Болотникову.

— Ну что, боярин? — спросил гневно Болотников. — Почто сопротивлялся? Почто неправду чинил над мужиками?

Выбежал вперед мужик из отряда народного, стал рядом с боярином, задрал посконную рубаху и обнажил перед Болотниковым спину, исполосованную синими рубцами.

— Мотри, Иван Исаевич, мотри, воевода, на боярскую ласку. Женку мою Прасковью до смерти батогами замучил! Бобылем теперича остался!

— Сто плетей боярину, — помрачнел Болотников, — а потом на перекладину. А ты, бобыль несчастный, возьми заместо жены дочку Валуева. А боярыню — в обоз: кулеш для ратных варить.

Боярин упал перед Иваном Исаевичем на колени. Запричитала боярыня старая.

— Охти нам! Помилуй, батюшка воевода, не казни!

— Не обессудь, боярин, — обернулся к нему Болотников. — Умел грешить, умей и ответ держать.

Ярким пламенем горела усадьба, огненные языки вздымались к осеннему серому небу. На воротах висел труп хозяина.

Грозное войско Болотникова двигалось к Москве, обрастая по дороге новыми отрядами мужиков, казаков, стрельцов. Двигалось грозно, творя суд над боярами.

Успехи Болотникова, который постоянно одерживал верх над войсками Василия Шуйского, заставляли недовольных боярским царем служилых ратных людей из Рязани и Тулы примкнуть к полкам главного воеводы.

Тульские служилые дворяне Истома Пашкова и рязанские отряды Прокопия Ляпунова и сотника Григория Сунбулова представляли большую силу и укрепили армию Болотникова.

— Будете ли вы, господа дворяне, прямить мне, яко главному воеводе? — спросил начальников Иван Исаевич.

— Ты, Иван, разумен и сведущ в ратном деле. — Прокопий Ляпунов протянул ему руку. — Обещаюсь с тобой на Москву идти.

— И я в одних мыслях с Прокопием Петровичем, — подтвердил Сунбулов.

Казацкий полковник Яков Струмило — седоусый запорожец не одобрил соглашения с дворянами, напрямик сказал, зайдя в шатер Болотникова:

— Ненадежны дворяне, Иван Исаевич, без бисовых детей справимся, не переметнулись бы к царю Василию.

— Нельзя иначе, Яков Сидорович, не справиться нам с московскими полками — огненного боя маловато, а у дворян пушкарей умелых достаточно, пойми сне, полковник.

В октябре 1606 года войска под знаменами Болотникова пошли к Москве. Погода резко изменилась, северные тучи нагнали затяжной дождь, размокли дороги, в грязи застревали обозы. Десятки воинов от скудной пищи маялись поносной хворостью. Бабы-знахарки и ученый немец — лекарь с ног сбились, приготавливая закрепляющее питье.

Надо было ждать снега — иначе Москвы не взять.

И большое сражение состоялось 1 декабря, когда зима сделала возможным наступление конницы и артиллерии: дорога стала ровной и снег хрумкал под копытами...

*

* * *

Царь Василий стремился во что бы то ни стало одержать победу, понимая, что, если Болотников разо-

бьет его войска, конец царствованию, конец бесславной династии Шуйских.

— Не одолеть служилых и мужиков,— говорил он в кремлевских палатах боярам,— вишь какую тьму супостатов нагнали.

Накануне беседы с боярами Василий Иванович ночью в потаенной горнице гадал с ведунами на разный манер: на петуха, на зернь, на бобы и на звезды небесные. Выходило так: не обманешь — проиграешь, обманешь — выиграешь; это и без гаданья знал Шуйский — на том жизнь прожил.

Дьяк Наум Дорофеев в думе поклонился царю и боярам.

— Государь великий, пошли гонцов доверенных до Ляпунова и Сунбулова, пообещай им милости, чины, всякого пообещай.

— Достоинно, Наум Семенович, молвил,— поддержали бояре.— Пра слово, государь, посылай до служилых, пушай они на твою царскую службу перейдут.

Заслали лазутчиков, те добрались незамеченными до караулов Ляпунова, передали ему боярское письмо.

— Прочти, воевода, и враз разорви,— сказал царский посланец.

Прокопий велел позвать Сунбулова и трех сотников, с ними совет держал.

— Кто его знает.— Сунбулов почесал затылок, перекрестился.— Скажу тебе, Прокопий Петрович, недовольны дворяне Болотниковым, хоть есть у него надежные полки, а все же опосля придется с ним разойтись: мы без мужиков в поместьях не проживем, нам без холопов не хозяйствовать.

— Понял, друг Григорий. А как вы мыслите, сотники?

— Остуда у служилых с Болотниковым. Царь Василий, конечно, боярам мирволит, блудодейный и жадный, а все же нам он ближе будет, нежели холопы и казаки Ивана Исаевича. Не с руки нам с Болотниковым. Договориться след с царем Василием...

Ляпунов и Сунбулов перешли на царскую сторону. Ляпунову пожаловали сан думного дворянина, Сунбулову — чин полковника.

Засылали лазутчиков и в стан Болотникова...

«Буду в Москве победителем, а не изменником», — таков был ответ.

22. ДВОРЯНЕ ИЗМЕНИЛИ

1 декабря, когда отряды Болотникова громили царскую конницу, в тыл им ударил полк Истома Пашкова.

— Говорил я, Иван Исаевич, о дворянах,— укорил наблюдавший с пригорка за битвой старый Яков Струмило и бросил свою сотню навстречу дворянам.

Многих спровадил на тот свет саблей запорожец и сам лег под копыта дворянских коней.

Болотников дважды пытался отогнать от обозов царские полки, под ним была убита лошадь, он пеший еле отбился от нападавших на него служилых. Казаки дали ему коня, и Болотников снова ринулся в бой.

— На боярскую погибель!

Но ничего нельзя было уже предпринять. Рейтарские роты, дворянская конница ворвались в середину полков Болотникова, беспощадно уничтожая их. Гремели пушки.

В зимнем, напоенном порохом и кровью воздухе прозвучали печальные звуки труб — Иван Исаевич приказал начать отступ.

Лучшие боеспособные части народной армии медленно отходили на Калужскую дорогу.

На подмосковном поле царские войска праздновали победу: добивали раненых, гнали плетьюми пленных.

Царь Василий встречал полки со слезами.

— Доблестные воины! — восклицал фальцетом. — Хвала вам! Отстояли престольный град от воров! Помогла Москве пресвятая богородица.

Хоть и жаден был Василий Иванович, все же повелел наградить воинов денежной дачей месячной и выставил на площадях для ратников бочки с пивом, брагою и вином.

Серпуховчане умолили Болотникова идти дальше.

— Мы, сироты, сами не прокормимся. А как нам прокормить твоё войско? — кланялись они Болотникову.

Тогда двинулись на Калугу.

Через день, к ночи, освещая путь смоляными факелами, усталые полки Болотникова подошли к Калуге. Калужане открыли им ворота, встречали жалеючи.

Иван Исаевич решил засесть в осаде в Калуге до весны. Было с ним десять тысяч человек с пушками.

Воеводы царя Василия обложили город, но взять не смогли.

23. ЧЕСТНЫЙ НЕМЧИН ФИДЛЕР

Царь Василий говорил своим братьям Дмитрию и Ивану Шуйским:

— Извести след зловердного беса Ивашку.

Димитрий обещал поискать такого отравителя и нашел. В Москве на Арбате жил немчин Фидлер; он когда-то служил в швейцарской гвардии при царях Борисе и Димитрии. После смерти Расстриги отпросился со службы и получил нищенский прокорм из дворцового приказа. Этот Фидлер показался Шуйскому подходящим: и Гришку знал, и сам из швейцарских солдат, коим цари доверяли.

— Клянешься, немчин, исполнить государев приказ? — Боярин внимательно посмотрел на белокурого широкоплечего солдата.

— Да, обязуюся! Уповаю на божью помощь, погублю Болотникова.

— Возьми сие,— передал Дмитрий Иванович малую скляницу.— Вольешь в чару вина или в другое питье, и Ивашка пожнет свое воровство — сдохнет в одночасье.

— Слушаю, боярин, исполню борзо.

— Выбери в конюшне моей лошадь и возьми задаток.— Шуйский протянул кожаную кису, в ней сто рублей.— Выполнишь с честью царское повеление — получишь усадьбишку и мужиков, помещиком сделаешься.

Немец не постеснялся, обошел конюшню, высмотрел серую в подпалинах лошадь прозвищем Искра. Оседлал ее. На боярской поварне плотно закусил, опоясался саблею, пистоль заткнул за пояс и не спеша выехал через Московскую заставу.

По дороге весело распевал, гладил по холке Искру.

— Вырвались из Москвы!.. Послужим истинному государю!

У Калуги немца не задержали; по одежде узнали — царский телохранитель.

В городе дозорные препроводили к главному воеводе.

Иван Исаевич принял Фидлера хорошо, угостил чаркой вина.

— Почто прибыл, царский слуга?

— Извести вас, господин воевода, отраву привез! — И весело глянул в глаза Болотникову.

— Лжешь! — удивился Иван Исаевич.

— Извольте принять, господин воевода! — И протянул на ладони склянку с ядом. — Его милость боярин Димитрий Шуйский по приказу царя Василия вручил, а это десять червонцев — задаток. Пообещали помещиком сделать.

— Дай я тебя поцелую, солдат! — растрогался Болотников, крепко обнял Фидлера и расцеловал троекратно.

— Я, ваша милость, господаря Димитрия почитал и любил, зачем же я солдатскую присягу буду марать?

— Не в жисть твоей услуги не забуду! Ведай у меня охраной, спаси ты бог!

24. КОНЕЦ ИВАНА БОЛОТНИКОВА

К весне 1607 года в Калуге начался голод. Болотников распорядился уменьшить выдачу зерна и крупы воинам.

— Иван Исаевич! — канючили калужане. — Окажи божескую милость, повели воинам забить лошадей — детишек кормить нечем; всю живность прирезали.

Болотникову было жаль лошадей; какие воины без коней? А обоз, а дозоры, вылазки? Но опять же — сена мало, овса мало...

Пришлось сохранить только наиболее крепких коней, остальных — забить. Суровые воины роняли слезы, когда предсмертно ржали кони.

Летопись сообщала: «...в граде Калуге, в осаде был голод великий, ели лошадей».

Кольцо царских полков вокруг осажденных замыкалось, но никто из калужан не мыслил о сдаче города.

Помог Шаховской. Привел из Путивля дружину к Туле. Пришли туда и казаки с Терека, Дона, Донца,

Волги, с ними и лжецаревич Петр Федорович, выдававший себя за сына царя Федора Ивановича. Царевич был ничем не примечателен, груб и жесток.

Заняв Тулу, Шаховской направил сильный отряд Андрея Телятевского в Калугу на выручку Болотникова. Телятевский неожиданно для воевод Шуйского ударил конницей с флангов, внес замешательство в ряды стрельцов, неохотно служивших царю Василию. Служилые бежали, а стрельцы присоединились к Телятевскому.

Калуга колокольным звоном встречала освободителей.

— Зовет тебя, Иван Исаевич, Шаховской в Тулу. Оставим в Калуге заслон, закрепимся за стенами Тулы и зачнем там силы на Шуйского собирать,— сказал Андрей Телятевский.

— В Тулу так в Тулу,— согласился Болотников.— Спасибо за подмогу.

Тула — большой укрепленный город, есть вооружение, пушки, воинов более двадцати тысяч, не считая постоянно прибывающих казаков и беглых холопов.

Царь Василий собирал рати против туляков, не жалел казны на наем служилых, рейтар, посылал увещательные отписки к восставшим. Собрал Шуйский сто тысяч человек и все же взять Тулы не смог. Царь от злости пожелтел, извелся.

В сентябре к нему явился муромский дворянин Иван Кравков и предложил злодейский план.

— Великий государь, силою воинскою не совладать с Тулой, прикажи затопить город.

— Легко сказать затопить, как сие произвести? — заинтересовался Василий.

— Надоть устроить плотину на реке Упе.

Коварный замысел удался.

Летописец говорит:

«...Вода стала большая и в острог и в город вошла и многие места во дворех потопила, и людем от воды учла быти нужа большая, а хлеб и соль у них в осаде был дорог, да и не стало».

Начались переговоры. Бояре Шуйского от имени царя обещали оказать сдавшимся милость. Тульские купцы, служилые, обыватели подступили к дому князя Шаховского.

— Сдавайтесь, воеводы, на царскую волю. Не сда-

дите град — сами врата откроем. Пропадем от воды и без хлеба...

Тула сдалась. 20 октября в Москву привезли Болотникова, Шаховского, Телятевского и «царевича» Петра.

Туляки целовали крест царю Василию.

Тогда началась расправа христоролюбивого Василия Шуйского. Казаки успели уйти в степи. Часть пленных беглых бояре отдали прежним господам. О тех, кто принимал участие в боях, кто за Расстригу крепко стоял (а таких были тысячи), царь Василий распорядился:

— Отслужить по ним панихиду, да простит господь их прегрешения, и посадить в воду.

— Много их, государь великий.

— А послать тысячи две воров в Новгород, пускай их в Волхов посажают. Поглядят православные, как противу бога и царя крамолить.

Безжалостно топили несчастных, измученных людей и в Москве-реке и в Волхове.

Мемуарист Исаак Масса, свидетель этих жестоких потоплений, записывал: «Эта казнь столь ужасная, что ее нельзя представить, совершалась в Москве уже два года и все еще не прекращалась».

«Царевича» Петра били всенародно кнутом, а затем повесили. Ивана Исаевича Болотникова не решились казнить в Москве. Царь Василий оказал ему милость — велел сослать на Север. Был отдан тайный приказ — ослепить народного вождя в Каргополе, вывести на реку и в проруби утопить. Шаховского заточили в монастырь на Кубенском озере, а Телятевского — в Кирилло-Белозерскую обитель.

Царь Василий торжествовал. Пировал, величал воевод и бояр, нежно ласкал молодую царицу. По прошению помещиков жаловал их землицей и крепостными. Начал подбираться и к вологодским, северным, издревле крепким общинным чернососным землям, где испокон помещиков не знали, где занимались промыслами и откуда шли и пушнина, и мед, и красная рыба.

А дабы не бегали от господ смерды, дабы навсегда забыли о Юрьеве дне, в приказах московских строчили указы государя ко всем воеводам и дьякам градов Руси, что дозволено боярам и дворянам пятна-

дцать годов разыскивать и возвращать беглых крестьян.

Зело «добрый» был царь Василий Иванович. Сам говаривал: «Добер я до державы Московской, ох, господа бояре, не в меру добер!»

25. ТУШИНСКИЙ ВОР

Недолго, однако, радовался царь-государь. Надвигались новые беды и напасти. «Гром не из тучи, а из навозной кучи». И если бы напасти коснулись лишь царя Василия — шут с ним, туда ему и дорога. Беда была всерусской, страшной.

На годы залитая кровью страна раздиралась иноземными захватчиками с помощью Лжедмитрия второго.

Кто же был этот авантюрист, появившийся летом 1607 года в Стародубе-Северском?

Предыстория проходимца была следующей: его привезли на площадь из тюрьмы, где он говорил, что принадлежит к роду Нагих. Спросили:

— Кто ты есть? — Он молчал.

В толпе зароптали:

— На дыбу его, в застенок!

Тогда Вор грозно прикрикнул:

— Сукины вы дети, неужто не узнали? Яз ваш природный государь Дмитрий Иванович и хоронюсь от своих недругов — бояр.

И такова была сила имени Дмитрия, что вся толпа упала на колени и повинилась:

— Прости, государь, прости, батюшка!..

И сразу же началось быстрое восхождение Вора на вершину власти. К нему примкнули разрозненные беглецы из прежних отрядов Болотникова, а потом пришли из Литвы вооруженные банды и толпы всяких вельможных панов.

Это не была война Речи Посполитой с Москвой, нет, своевольные шляхтичи не очень-то слушались своего короля, часто поднимали восстания — «рокоши» против него. Ушедшие из России при Шуйском в пограничные районы, они только и мечтали о легкой добыче в Московии, к тому же им хотелось отомстить

за убийство шляхтичей в Москве. Появление второго Лжедмитрия было им на руку. Тысячи поляков устремились в стан Вора. Тут были: родственник великого канцлера литовского Льва Сапеги — Ян Сапега, Лисовский, Вишневецкий, пан Будило, князь Рожинский и многие другие. Пришел с казаками деятельный молодой полковник Иван Заруцкий, занявший видное место в боярской думе Вора. Пришли и недовольные царем Василием дворяне и дьяки. Образовалось правительство Вора, угрожавшее Москве и Шуйскому.

Вор посылал своих воевод и дьяков в другие города, принуждая и там целовать ему крест.

Началось ограбление городов и сел. Захватив тот или иной населенный пункт, тушинцы отнимали у жителей имущество, зерно. А в лагерь Вора все прибывали и прибывали польско-литовские шайки, с ними ехали католические ксендзы-иезуиты. В Ватикане опять вспыхнула надежда просветить огнем и мечом москалей-схизматиков.

Пан Мнишек привез в лагерь Вора и Марину Юрьевну: она должна была признать самозванца чудесно уцелевшим супругом Дмитрием.

Когда Марина, испуганная и дрожащая, предстала перед грубым, неотесанным мужиком, то упала в обморок.

— Ничего, — сказал тот, — сомлела царица от радости. Сколь времени не миловались! Поди забыла, как со мной в Кремле спала?

Он поднял бесчувственную Марину и отнес в свою горницу. Выгнал на улицу пана Мнишека и офицеров.

— Не мешайте государю с царицею, когда требуется, кликну.

Овладеть Москвою наскоком не удалось. Племянник царя Михаил Васильевич Скопин-Шуйский не раз отражал захватчиков.

Войска и правительство самозванца прочно обосновались в подмосковном селе Тушино. Появился двор царя и царицы. Марина примирилась со своей участью и снова, как в Москве, окружила себя статс-дамами, молодыми кавалерами и иезуитами. Был насильно захвачен и привезен в Тушино митрополит Филарет Романов, которого, не спрашивая его согласия, Вор произвел в патриархи.

В Тушине издавались указы, назначались воеводы, бояре и окольные, жаловались земли с крестьянами. Случалось так: утром боярин или стольник бил челом царю Василию, а к вечеру лобызал длань тушинского Вора, выпрашивая на бедность. Таких бояр называли перелетами.

Города русские приходили в запустение, не знали, кого слушаться, кому верить. Захирела торговлишка и оскудели промыслы.

26. ТУШИНЦЫ В ВОЛОГДЕ

Нахлынули тушинцы и в вологодские пределы. Несметной саранчой глодали они Русскую землю. Сначала народ верил имени Димитрия и пускал в города и села шляхтичей, казачьих есаулов и потерявших совесть русских.

Нет, это были уже не отдельные грабители шляхтичи, что случалось при Расстриге, нет, теперь отряды тушинцев действовали по закону, планомерно, теперь грабеж, насилие и убийство стали повседневными. И население уже называло тушинцев общей кличкой Литва.

Богатые вологодские склады, обилие запасов прельщали тушинцев, ой, как прельщали. Из захваченного Ярославля прислал Вор дьяков с сильным отрядом в Вологду. Воевода Никита Пушкин, увидя под стенами города большое скопление вооруженных ляхов и казачьи пики и не желая кровопролития, отворил ворота.

— Присягнем Димитрию Ивановичу! — обратился он к вологжанам.— И Ярославль, и Кострома, и Тотьма приняли его!

— Приняли-то, господин стольник, с нужою, со слезами-то крест целовали,— возражали купцы и посадские.

Тушинские дьяки перво-наперво явились на пристани к складам иностранных торговых гостей и вологодских купцов описать товаров делать.

— Мы, господа, ваши товары охранять станем, не дадим в обиду, а в том, что отошлем царю Димитрию

Ивановичу, роспись составим, по ней и расплата будет.

Плохо стало и посадским. Шляхтичи вламывались в дома и требовали угощения, насильовали жен. Кузнец с Верхнего посада выгнал нахалов с подворья, одному насильнику разрубил топором голову. Тогда тушинцы сожгли его дом вместе со всем семейством.

«Царю, великому князю Димитрию Ивановичу. Смилуйся над нами, сиротами твоими. Окажи защиту. Нету жития от литовских людей», — писали посадские в Тушино.

Другой жалобщик плакался: «И взял той пан мою женку и держит у себя и пожитки мои и всю худобишку отобрал. Смилуйся, государь. Помилуй!»

Крестьяне жаловались: «Мы, сироты твои, великий государь, теперь скитаемся между дворов, пить и есть нечего, помираем с жёнишками голодною смертью, да на нас же просят твои сотные деньги и панский корм, стоим в деньгах на правеже, а денег нам взять негде».

А в Воскресенском монастыре, что на Шексне, поляки поубивали всех монахов и игумена, храмы же монастыря разгромили дотла. Одни головешки остались.

...Не годы, а невзгоды состарили Ареева. Когда-то бодрый, с прямым станом, молодцеватой походкой, за шесть-семь лет Григорий Антипыч превратился в грузного седого пожилого посадского.

Ареев глубоко переживал и горести земляков и горе всей Руси.

Сколько погибло вологжан за последние годы! Его соседей — Никифора Блинова, Ивана Севастьянова, Петрея Масленникова огнем пытали, бороды палили; благочестивого Галактиона, подьячего Васю Коломейцева, посадских Дорофея и Глеба Чижовых, оружейника Геннадия Орлова — да всех не перечтешь, десятки их, — кого повесили, кого саблями порубали.

Ах, Вологда родная, во что ты превратилась? Сколько людей сгублено! Где твое богатство? Где полные склады товаров у пристаней? Где обозы с пушиной?..

Заказов в мастерскую поступало мало. Но не об этом тужил Ареев. Арину с двумя маленькими внуками Егорушкой и Дуняшей отправил под присмотром бабки Ульяны по Сухоне за Тотьму в леса тарногские,

в женскую обитель, где его сестра Евпраксея подвизалась настоятельницей. Туда никаким врагам не добраться.

Теперь неприхотливую еду — толокняную иль просяную кашу да щи варил старик Евстигней; он же и хлебы пек.

У Гурия Чуранова загустела черная борода, у Матюши Исакова борода рыжеватая, кучерявая.

Никита дома сидел, грустил о жене и детях, а Гурий и Матюша по ночам уходили. Евстигней сказывал, берут с собой дубины и ножи, на улице их другие парни поджидают — видно, бьют тайком воров и изменников. Приходят утром и в мастерской носами клюют. Ну и пускай — все одно работы мало.

27. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ

Ночь была ясная. Небо вызвездило, деревья в лунном свете казались серебристыми и пушистыми.

Иконники, держа в руках лыжи, вышли на улицу. За калиткой их ждали трое кузнечных подручных. Парни встали на лыжи и спустились к реке. Только на реке один из них произнес:

— У Гаврильцева вчера враги ограбили наших, сани увели с лошадьми и двоих мужиков прикончили. А у старосты Прокопьяча корову с кабанчиком прирезали и девку-стряпуху, что вой подняла. Самого Прокопьяча на задворки выгнали, а в избу свой постой перевели. Надо, робя, воров проучить.

— Ладно, пошли.

— А чего ваш Никита оплошал — испужался, знать? — спросил высокий широкоплечий подручный Иван.

— Нет, — отозвался Матюша, — он храбер, позвали бы — пошел бы с нами за милую душу, дак мы сами не взяли. Не дай бог с ним что случится — останется Григорий Антипыч без сына. У Никиты семья за Тотьмой, а так парень он надежный.

— Сказывают, что у Кирилла паны и литовские люди урон терпят, тамо со стен монастырских на воров смолу да горячую воду льют и из пушек палят...

Так, переговариваясь, маленький отряд достиг Гав-

рильцева. Посреди деревни обгорелая деревянная церковка со сбитыми набок крестами. Казалось, что это не кресты, а руки протянулись к небу, моля о помощи. Лишь в одном пятистенке горел свет, оттуда доносились пьяные песни.

— Потиху, ребята, потиху, — отдал команду Иван. — Как бы сполуху не подняли враженята...

В просторной избе, где горели две церковные свечи, на лавках сидел пьяный сброд. Это не были солдаты регулярного войска Речи Посполитой. Здесь в избе сидели отпетые мерзавцы, для которых и собственная жизнь и жизнь других ничего не стоили: они хотели пить, грабить, издеваться, воровать. На грязном земляном полу связанный полотенцами, в окровавленной рубашке, босой, лежал староста. Лицо его было залито кровью, и он уже не мог говорить, только мычал.

— Ну, панове, — обратился к приятелям шляхтич в сером жупане, поднося ко рту оловянную чару с вином, — этого москаля надо заставить сказать, где припрятал хлоп денежки.

— Треба прижечь вахлаку пятки, — посоветовал молодой казак. Это был бежавший из запорожского войска вконец спившийся парень.

Один из сидевших, в грязной сермяге, взял свечку и подошел к старосте.

— Сейчас мы подожжем тебе пятки, хлоп. Говори, где деньги?

На улице заржали стреноженные кони. Сквозь волоокские оконца ничего не было видно. И в этот миг с шумом распахнулась дверь — и перед изумленными захватчиками предстали с поднятыми дубинами и топорами вологжане.

— Цо то есть? — испуганно закричал шляхтич в жупане.

Парни не ответили, а молча, с ожесточенными лицами ловко и споро набросились на воров.

— Помилуйте, панове, — упал на колени тот, кто держал свечку, — помилуйте!

Миловать их не стали.

— Что будем делать, ребята?

Матюша, развязав и усадив на лавку старосту, поднес ему вина.

— До чего измучили старика!

— Слушайте, молодцы, — распоряжался Иван, — надоть лиходеев в прорубь спустить, чтобы следов не было. Старосту след с собой взять, все равно ему недобровать.

— Как он пойдет?

— А мы его на лошади, вон трое коней стоят.

На Прокопьяча накинули снятый со шляхтича жупан, ноги обернули в тряпки, и Матюша с Гурием вынесли его на улицу. Вскорости все было покончено — трупы захватчиков спущены под лед. И маленький отряд, бережно везя стонавшего Прокопьяча, вышел из Гаврильцева.

И снова наступила тишина. В лунном свете чернели курные крестьянские избышки, вздымали к небу кресты колокольни свои распростертые руки, и иней легким пухом покрывал ветви деревьев.

28. ИНТЕРВЕНЦИЯ

К царю Василию обращался шведский король Карл Девятый, предлагая ратную помощь. Бояре гордо отказывались: мы-де сами с усами. Но когда Вор обложил Москву, когда тушинцы овладели многими городами, Василий послал племянника Михаила Васильевича Скопина-Шуйского в Новгород, чтобы через шведских уполномоченных договориться о военной помощи. Король просил взамен отдать город Корелу, царь согласился. Новгородцы радушно встретили молодого полководца, шведы выделили несколько тысяч наемников, дисциплинированных, закаленных солдат под командованием генералов Делагарди и Горна.

Если новгородцы стояли за Василия Шуйского, то Псков, признавший Тушинского Вора, не захотел подчиниться. Однако с приходом дружины князя Михаила Псков целовал крест Москве. Войска Скопина и шведов одержали ряд побед над тушинцами и освободили Старую Руссу. Влияние сильной и благородной личности юного князя благотворно сказывалось на настроении населения Севера. Считали, что царь Василий стар и недолговечен и что его преемником будет Михаил Васильевич.

В Вологде тот же воевода Пушкин, присягнувший самозванцу, тайно договорился с купцами, торговыми людьми и посадскими сбросить тушинских начальников. По сигналу набата вологжане неожиданно напали на захватчиков и обезоружили их; кого посадили в тюрьму, кого уничтожили, а тела воров побросали в рвы и речку Золотуху собакам и свиньям на съедение.

Героически сражался и отстоял свою независимость от Вора малый город Устюжна-Железнопольская.

Понимая значение Вологды, князь Скопин послал для обороны города ратных людей из Каргополя и Белозерска, стрельцов с пушками под началом Григория Бороздина, Михаила Вышеславцева и Овсея Рязанова.

Вышеславцев из Вологды со своим отрядом разбил тушинцев под Ярославлем и занял его. Была очищена от захватчиков Кострома. Пан Лисовский вынужден был отступить к главным силам Вора.

Кроме Вологды Московское правительство возлагало большие надежды на Великий Устюг, бывший посредником между северо-восточными и другими областями государства. Устюжане не присягали Вору и держали постоянную связь с городами на реках Вологде, Сухоне, Вятке и Каме. Скопин-Шуйский, преодолевая сопротивление тушинцев, подходил к Верхней Волге.

В Москве царь Василий через келаря Троице-Сергиевской лавры Авраамия Палицына сообщался с осажденной дружинами Сапеги и Лисовского лаврой.

Лавра, стоявшая на пути к Москве, прославленная обитель, особо чтимая русским народом, мужественно сопротивлялась захватчикам. Авраамий Палицын, даровитый политик и писатель, оставивший потомству обширное «Сказание о смуте», как только мог помогал осажденным и деньгами и припасами. В Московском подворье лавры всего припасено было достаточно, но сообщаться с ней с каждым днем становилось труднее: все подходы были заняты врагами.

Вместе с монастырем переживала осаду и находившаяся там Ксения Годунова.

Пан Сапега считался отличным воином. Он употребил все средства, весь полководческий талант, что-

бы овладеть монастырем. Несколько раз войска бросались на приступ. Но монастырские стрельцы, крестьяне и монахи отражали натиски.

Ни подкопы, ни ядра, ни голод не смогли сломить мужества русских людей. В эти грозные и томительные дни Ксения преобразилась. Она видела раненых, умирающих и убитых защитников лавры, ее келья содрогалась от разрывов картечи. Ксения перестала страдать от своих воспоминаний. Теперь было лишь одно: безмерная неугасимая любовь к защитникам крепости. С утра она уходила на стены. Научилась перевязывать раны. Воины с благодарностью благословляли ее.

Ксении было тяжело. Иногда ей казалось, что на следующий день она не сможет встать, но, просыпаясь ранним утром, наскоро молилась и шла туда, где гремели выстрелы, где измученные люди в мужицких сермягах, рясах и красных стрелецких кафтанах отражали натиск врага.

Однажды в скучный декабрьский день, когда по небу ходили свинцовые тучи и на землю падал мелкий надоедливый снег, царевна почувствовала тяжесть в ногах и сильную головную боль. С трудом дошла до своей кельи, легла на жесткое ложе. Раздеться не было сил.

Она видела, как келья наполнилась красноватым светом. Свет сгущался, становился осязаемым. Он был похож на адское пламя росписи, изображающей Страшный суд. Пламя проникало через веки. Она ощущала его на лице. Сквозь огонь к ней протянулись руки, длинные, цепкие, с синими ногтями. К ее лицу склонилась огромная голова с рыжими всклокоченными волосами. Ксения хотела оттолкнуть голову, но не смогла. Она потеряла сознание. Это было началом тифозной горячки.

За Ксенией ухаживала жена стрелецкого сотника. Царевна билась головой о каменные стены и кричала от страшных видений. Пришлось ее связать...

Когда царевна поправилась, врагов уже не было. Сапеге пришлось снять осаду.

Стояла ранняя весна. В монастырском саду пахло липой и яблонями. Небо было голубым и прозрачным.

Ксения села на свою любимую скамью. Долго смотрела, как будто в первый раз видела небо, и зелень, и старого стрельца с грязной повязкой на голове, сто-

явшего на валу. Она охватила все это жадным взором и вдруг заплакала от переполнившего ее сердце счастья жизни.

29. МИХАИЛ СКОПИН-ШУЙСКИЙ

В Александровской слободе, из которой Иван Васильевич Грозный управлял опричниной, где когда-то у монастыря горели костры, стояли виселицы, плахи, где на помосте раскаленным железом пытали сотни людей под лихой клич черных кроmeshников: «Гайда! Гайда!», — в этой слободе квартировали теперь полки Скопина и шведа Делагарди.

Шведы в кожаных кирасах, стрельцы в алых и синих кафтанах, земские воины — мужики в зипунах с бердышами и топорами, служилые в доспехах и на конях — все они представляли красочное зрелище. Слободские девушки да и молодые женки заглядывались на воинов. Посадские и торговые слобожане, поставлявшие для армии фураж, удивлялись: «Не охальники! Не грабители! Полковников слушаются, на торжке за питое и обеденное платят сполна! Вот что бывает, когда на челе такой воевода, как князь Михаил, любимый народом боярин!»

Сейчас он сидел на лавке в покоях старого купеческого дома и беседовал с вологодским воеводой стольником Пушкиным, приведшим отряд вологодских черносозных крестьян. Князь Михаил не был красавцем, он принадлежал к тому типу людей, о которых говорят: не так красив, как симпатичен, — открытое лицо, добрые карие глаза, приятный голос. Хорошо воспитанный, умевший ладить с иностранцами, он снискал симпатии ровным благожелательным отношением к каждой просьбе. Князь в походах был всегда на коне, среди воинов, подбадривал их шуткою, ласковым словом, делил с ними трудности и невзгоды. Знали и то, что в своих вотчинах он установил малые оброки и не позволял приказчикам и приставам обижать мужиков.

Князь Михаил сидел на лавке рядом с Пушкиным и спрашивал его:

— Как же так, стольник, согласился ты целовать крест Вору?

— Поневоле, княже, поневоле, жалеючи вологжан. Взяли бы враги приступом Вологду — и разграбили бы богатые склады, осквернили церкви! А впустили воров в город, так им и не можно было враз грабеж учинить.

— Ладно, Пушкин, опомнились и выгнали злодеев из города, и ты тому помог, стольник, — за то на тебя государь Василий и не положил опалы. И привел ты ко мне мужиков на государеву службу.

Пушкин встал и чинно поклонился.

— Мужики, княже, крепкие, в походах бывали, добро послужат.

— Спасибо, стольник, вертайся обратно в Вологду, не забудь взять у дьяка Порфирия Семеновича похвальную грамоту, в коей царь благодарствует вологжанам, устюжанам за верность Москве. Благодарствуем и Строгановым — зело из Сольвычегодска помогают и оружием и деньгами.

Когда стольник вышел из покоев, Скопин остановился у оконца и посмотрел на улицу. Серое небо, грязная площадь, кони на привязи, стрельцы у дома. Задумался. Ему было двадцать четыре года, хорошие годы, молодые, а что он взял от юности? Коня, доспехи, походы, заговоры, потери друзей. Где они? «Ах, дядя Василий Иванович! Сколько ты надежд погубил! Сколько нужных царству живота лишил! Хитрый дядя, одно скажет — другое сделает. Взять шведов: требуют жалованья, не уплатим — уйдут домой, а Корелу за собой оставят. Генерал Делагарди словами не шутит, а дядя мне пишет, чтобы я откуда угодно да денег добыл. Просил Пермь — отказала. Спасибо соловецкому игумену да Строгановым — выручили.

В дверь постучали. отошел от окна, сел на лавку.

— Кто там?

— От рязанского воеводы думного дворянина Прокония Петровича Ляпунова сотник Петр Дымов.

— Войди.

Вошли усталый сотник, два служилых и дьяк Порфирий Семенович, худой, как жердь, суетливый, но дельный.

— Его милость, — низко поклонился рязанец, — воевода Ляпунов приветствует тебя, великий боярин и княже, и велел отписку передать и ответ привезть.

— Прочту отписку, а ты, сотник, со служилыми

ступай за дьяком. Притомились поди с дороги! Порфирий Семенович, друже, угости рязанцев, чтобы на нас охулки не клали бы.

Оставшись один, князь Михаил развернул отписку, прочел, вспыхнуло лицо краской, взволновался, еще раз прочел, забегал по горнице.

Прокопий Ляпунов смело обращался к князю от своего имени, от брата Захария Петровича, ото всех рязанских купцов, служилых и посадских! «...и не токмо от них, а мыслю — ото всей Руси», — писал он, что, мол, царь Василий неудачлив, двуличен, а воинам, служилым и народу не мил, что просят рязанцы и прочие люди, чтобы он, князь Михаил, не ради корысти, а по любви к отчизне принял скипетр и бармы Мономаха и воцарился природным государем на Московском престоле; они же, верные его слуги, сведут с государства Василия и будут преданными подданными государя Михаила, и кончится тогда смута в державе.

«Что ж сие такое? — рассуждал сам с собою Скопин. — Что ж сие такое? Почто кладет Прокопий свою и рязанцев головы на плаху? Помыслить о том страшно! Ежели донесу до дяди Василия отписку рязанскую, опозорюсь. Не донесу — начнутся свары и нестроение, дядья и бояре не простят меня.

Михаил не боялся опалы. Что ему опала? Он честно выполнял присягу и хотел лишь одного — покончить с Вором и ляхами, мир принести истерзанной родине.

Позвонил в колокольчик. Явился слуга.

— Что прикажешь, княже?

— Позови сотника и служилых рязанских, — сказал спокойно и тихо.

Пришли рязанцы. Смотрели на князя преданно, верно смотрели.

— Ведомо ли тебе, сотник, о чем писал воевода Ляпунов?

— Ведомо, княже, — твердо ответил Петр Дымов.

Михаил взял письмо Ляпунова, подошел к божнице, где горела лампадка, поджег бумагу и держал в руке, пока не превратилась в пепел.

— Кланяйся от меня Прокопию Петровичу и скажи, что князь Скопин-Шуйский никакой от него отписки не получал. Понял, сотник?

— Понял, княже.

За оконцем серое небо, Александровская слобода, талый снег на площади; у дома стреноженные кони и караульные стрельцы.

30. СМЕРТЬ СКОПИНА-ШУЙСКОГО

В царском дворце грызня. Шуйские пронюхали о послании рязанцев Михаилу Скопину. Старший брат царя Дмитрий, лысый боярин с шишковатым носом, в сопровождении младшего — Ивана поспешил в Кремль. Царь Василий и царица Марья отдыхали в опочивальне. Дмитрий дерзостно, хотя и удерживали его стольники, вошел к царю и грубо:

— Государь, проснись, дело есть.

— Ты чего, Митрий? — Василий Иванович нехотя, потягиваясь, сел в кресло.

— Племяш-то... за короной тянется! Рязанские воеводы на царствование приглашают Михаила.

— Браки поди,— хладнокровно молвил царь. Ему надоели постоянные жалобы братьев на племянника. Василий Иванович понимал: Михаил удачлив, молод, любим народом, а Дмитрий, чьи военные способности ничтожны, никакой поддержкой не пользуется. По старшинству же Дмитрий в случае кончины царя ему наследовал.

— Государь! — Дмитрий возвысил голос.— Донесли мне из слободы Александровской, что приезжали гонцы к Михаилу с письмом, на престол звали, а Михаил то письмо сжег. Повели того гонца в железа заковать и в Москву на допрос препроводить.

— Князь Михайла,— царица с неприязнью взглянула на Дмитрия,— воров беспощадно бьет, державу охраняет, к нам, царям, почтителен.

А Василий Иванович прибавил:

— Ты бы, Митрий, не мешался между мною и Михаилом.

— Как не мешаться, братец? — заплакал младший Иван.— Ведь мы-то тебе наследники: сперва Митрий — царем, а опосля и я.

— Дозволь, государь, допросить рязанцев в пыточной,— настаивал Дмитрий.

— Шел бы ты домой,— сказал сухо царь.— Не докучай нам. Ты же, Иване, не разевай рот на царский венец, я живой еще.

Марья засмеялась, молодо сверкнула зубами.

— Не рановато ли, Ваня, шапку-то Мономахову примеряешь? Ой, не распускай сопли! Аника-воин!

Ушли братья из дворца не солоно хлебавши, злые, расстроенные, проклинали князя Михаила: и почто ему такое везенье, и почто пащенку такой почет?

*
* * *

Король Сигизмунд, видя что шведы, постоянно враждующие с Речью Посполитой из-за Ливонии, помогают Москве, решил захватить Смоленск — крепость и большой город, на который Литва издавна предъявляла свои права.

Сенат и шляхта одобрили действие короля, а армия Речи Посполитой под водительством наияснейшего короля Сигизмунда обложила Смоленск, где воеводой был мужественный полководец боярин Шеин.

Король решил, что тушинцы теперь не представляют большой силы. Там идет грызня между отдельными шайками. Вор не пользуется ничьим доверием. Русские бояре и стольники, вроде Салтыкова, покидают Тушино. Тогда король издал универсал, где призывал поляков и литовцев покинуть Вора. Многие из воинов присоединились к королевской армии. Самозванец ушел в Калугу. Тушино подожгли, и лагерь чадным пламенем горел два дня.

Скопин и шведы разбили под Дмитровом пана Сапегу и открыли путь на Москву.

12 марта 1610 года под русскими знаменами Спаса и шведскими штандартами с изображением льва князь Михаил и генерал Делагарди вступили в Москву. Царь Василий повелел устроить торжественную встречу племяннику-победителю. Бояре несли на серебряном блюде хлеб и соль. Москвичи ликовали.

— Здравствуй на многие лета, наше красное солнышко!

Стройными рядами двигались по улицам Москвы русские дружины и суровые шведские солдаты. Впереди Михаил, а чуть поодаль генерал Делагарди.

В кремлевских воротах ждал племянника царь Василий. Он обнял Михаила и надел ему на шею золотую цепь с медалью.

— Не забуду, Михайло, твою службу державе Российской.

Праздновала столица победу. Вслед за войском пришли в город подводы со всякими припасами. И теперь в каждом доме пекли пироги и жарили мясо и рыбу, угощались пивом и брагой, чествовали воинов.

Стоял теплый апрель. Москва успокоилась. Торговала. Служила. Промышляла. Успокоился и царь Василий — надеялся на племянника.

*
* *
*

У княгини Екатерины Шуйской — жены Дмитрия разлилась желчь. Достоянная дочь опричника Малюты Скуратова, жестокая и властолюбивая, она не смогла смириться с тем, что князь Скопин процветал.

— Смотри, — будила она мужа по ночам, — смотри, Митрий, сядет Михайло на престол, обездолит наш род.

— Что же делать? — сердился Дмитрий Иванович. — Околдовал Михайло брата Василия, ишь как возвысился, не дотянешься!

— Дотянемся, — пообещала Екатерина, — не упустим.

А князь Михаил веселился — не часто ему приходилось в спокойствии отдыхать, — не подозревая ничего худого.

На крестильном пиру у Ивана Михайловича Воротынского присутствовали Шуйские: Дмитрий, Иван, Екатерина. Делали вид простодушный, целовались с князем Скопиным, подливали вина.

— Многовато, дядя Дмитрий, — отнекивался Скопин.

— Такому молодцу, да многовато, — подзадоривал дядя.

— Хватит, князь, перепьешь, — удерживал его стрелецкий полковник Нефедов, — отдохни.

— Дай-кось я поднесу Михайле чару, — сказала Екатерина. — Боярин Иван Михайлович, не обессудишь?

— Сделай милость, княгиня, из твоих рук воеводе мед слаще покажется.

— Благодарствую, тетушка.— И Скопин, приняв на подносе кубок, выпил его одним дыхом. Выпив, закусил моченым яблоком.

Шуйские перемигивались.

— Упился Михайло, меры не знает, молод еще.

Скопин почувствовал недомогание. Только что здоров был, весел, а тут сразу тяжело на сердце стало, защемило сердце, закружилась голова, ох как закружилась! Не поднять от скатерти сильные руки, лежат они словно гири, не двинуть ими. И в носу защекотало. С чего сие?

Приподнялся на скамье, чихнуть хотел, а из носа кровяца — аж всю столешницу кровью залил. И слова вымолвить не может; язык во рту толстый, не пошевелить.

Печально закончился крестильный пир. С бережением свезли Скопина в его хоромы. Настлали у дома соломы, чтобы проезжавшие не беспокоили больного.

Весть о недомогании князя распространилась по городу. Шумная по природе своей московская толпа здесь у дома любимого воеводы благоговейно молчала. Иногда шептали:

— С чего тако горе приключилось? Молод, крепок, аки дубок. Хворь напустили то недруги!

— Знаем, каки-таки недруги — боярин Дмитрий Шуйский с женой, змеей подколодной!

23 апреля 1610 года Михаил Скопин-Шуйский скончался.

И до сих пор не установлена причина его смерти: то ли мозговой удар, то ли отравка...

Скорбно плакали церковные колокола, горевали москвичи.

Посадские окружили дом Дмитрия Шуйского, кидали камни, кричали требовательно:

— Выдайте нам лиходеев.

Царь Василий послал конных рейтар, разогнал народ.

И опять невзгоды, неурядицы, неустройство. Воспрянул духом в Калуге самозванец, матерно ругался:

— Издох... Митька! Теперь Москва будет наша!

Обрадовался и король Сигизмунд, воздав на словах долг доблести Скопина.

Смерть Скопина как гром поразила царя Василия. Ходил по дворцу, шаркая ногами, качал головой.

— Как без Михайлы будем жить-то, а, Марьюшка?

Царица Марья, глупенькая, курносенькая, по-бабьи жалела князя.

— Извели твои брательники Михайлу Васильевича, злыдни они вкупе с Екатериной, гони их, Василий, подалее.

— Дура ты, Марья,— останавливал жену Шуйский,— разве можно брата выгнать? Надо думать, как ему помочь, как любовь воинов и посадских заслужить. У меня, Марья, врагов не перечесть. Вон Васька Голицын, аль из тушинского плена прибывый митрополит Филарет, да и Захарка с Прокопкой Ляпуновы так и ждут моей промашки.

— Не будет тебе счастья, Василий, с братьями, скареды они, живоглоты они, гони их в шею! — голосила царица.

— Замолчь, Марья! — И царь хлопал дверьми.

— Ты-то умный, ты-то старый, ты-то хитрый, а толку что? — голосила Марья вслед уходящему царю.— Гундосый ты, несчастливый ты, пьяница ты!

31. СВЕРЖЕНИЕ ШУЙСКИХ

В боярской думе, сидя на троне, царь Василий вызвал князя Дмитрия:

— Боярин Дмитрий Иванович! Прими в свое ведение полки наши и свейские, нарекаем тебя главным воеводой и повелеваем немедля идти походом на гетмана литовского Жолкевского и, обратя его в бегство, спешить к Смоленску на короля.

— Исполню волю твою,— склонился перед царем обрадованный Дмитрий,— уповаю на милость Божию и на доблесть воинов. Не замедлю, государь, прислать счастливые вести с поля ратного.

— Держись, Митенька, родной, крепко,— ласкалась дома княгиня,— от твоей победы венец царский зависит. Разобьешь гетмана — всем московским угодишь.

— Уповаю, Екатерина, на победу.— Самодоволь-

ный Дмитрий ходил по горнице.— От пана Жолкевского один смрад останется.

В начале июня двинулось большое войско Шуйского из Москвы. Звонили бубны и литавры, трепались по ветру знамена, светило солнце. Москвичи провожали полки добрыми пожеланиями:

— Мужайтесь во имя спасения отчизны.

Уже в начале похода выявились разногласия. Рязанские дружины Ляпуновых, которые надеялись ранее видеть царем Скопина, волновались.

— Зачем кровь за Митрия Шуйского проливать? Зачем бояр на шею сажать?

Служилые тоже высказывались против главного воеводы. Они устали от военной службы: все в походах, а дома поместья хиреют, доходы нищенские. Был Михаил Скопин, была и надежда на одоление поляков и воров, а теперь во главе дружин не по храбрости сидят, а по роду, по спесивости.

Армию Шуйского ждали под Белой на пути к Литве полки князя Ивана Хованского, в Можайске — дружины молодого князя Голицына и Мезецкого с авангардом.

Известный в Европе гетман Жолкевский с испытанными в боях литовскими дружинами, не дожидаясь, пока московские рати навяжут ему сражение, недалеко от города Гжатска при селе Клушино атаковал войско Дмитрия Шуйского.

Не приняв боя, ушли к Москве рязанцы. Шведы оказались отрезанными от основных сил. Малая часть шведов тогда перешла к Жолкевскому, а большинство, перестроившись, походной колонной двинулись к Новгороду на соединение со шведской армией. Только стрельцы смело отражали вражеский натиск, однако и они были сломлены. Победу Жолкевский одержал полную: ему достались и «гуляй-крепости», и пушки, и богатый обоз.

Служилые разъехались по своим поместьям, не известив об этом главного воеводу. Потеряв всю спесь и гордость, Дмитрий Шуйский вернулся в Москву.

Авраамий Палицын писал: «Изыди князь со множеством воин, но со срамом возвратися».

Царь Василий долго ругал брата:

— Погибли мы за твое нерадение! — Стучал посохом.— Свеев упустил, теперь нас голыми руками Си-

гизмунд аль Вор загребут и от своих московских недругов позор примем. Уйди с глаз моих, главный воевода!

Молчал Дмитрий, не возражал, покаянно вздыхал, понимал — конец его службе...

«Ваша королевская светлость! — сообщал из Можайска Сигизмунду Жолкевский. — Бог широко отвергает двери своего милосердия! Идите на Москву!»

Король, занятый осадой Смоленска, не согласился. Тушинские бояре, во главе с Салтыковым перешедшие к Сигизмунду, приглашали на московский трон его юного сына Владислава. Они писали в Смоленск воеводе Шеину, чтобы он открыл ворота королю, потому что тот королевича Владислава на царство дает. Боярин Шеин ответил презрительным молчанием.

Осмелел и тушинский самозванец. Он разбил отряд крымчаков, пришедших на помощь Шуйскому. У Вора было всего три тысячи русских и казаков да еще дружина Яна Сапеги. Вор захватил Серпухов и остановился лагерем в пятнадцати верстах от Москвы в Николо-Угрешском монастыре.

— Что делать, бояре? — испуганно вопрошал в думе царь Василий.

— Войско собирать, государь, а денег на него в казне нету.

Две дороги на Москву открыты: из Можайска — гетману Жолкевскому, из Серпухова — тушинскому Вору.

*

* * *

Дмитрий Иванович Шуйский почти не выходил на улицу. Выедет в рыдване — стыдобушка: ни один смерд при встрече треух не скидает. В боярской думе яко оплеванный: бороды отворачивают, насмешки строят. Дома не слаще: Катерина злобится, холопы и те без почтения глядят. К брату царю заглянет — там Марья насмехается. С дурочки-царицы, конечно, спрос малый, а обида — взял бы плетку ременную, отстегал бы Марью по мягкому месту. Да разве можно?

Сидят братья друг против друга и вином горе заливают: знают — близок конец, а конца не хочется.

Июль, жара. От жары пуще народ серчает.

И вот уже к царю в покои ввалились Захар Ляпунов с товарищи, ярься злоязычно.

— Отдай, Василий Иванович, скипетр!

Царь Василий спяна схватил со столешницы острый нож.

— Отойдь, холоп!

— Только тронь! — подбоченился Захар. — Так трягну, что рассыплешься!

Царица Марья в крик:

— Охальники!

Дворцовая челядь незваных гостей выдворила.

Собрали толпу у Лобного места — народищу тьма.

— Царя надо скинуть! — кричал Захар Ляпунов. — На хрена нам такой государь!

На Лобном месте бояре. Приехал и патриарх Гермоген. Уняли крикунов-горлодеров. Дело государево важное, особенно, если с двух сторон враги — чужеземные и тушинцы.

— Нету моего согласия царя Василия с престола свести, немислимо без государя Русь оставить! — провозгласил Гермоген.

— Мы, владыка, — бояре вежливо патриарху, — мы Василия Ивановича не тронем, зла не учиним, попросим его царство оставить и в прежние хоромы с царицей Марьей переехать!

17 июля во дворец пришли бояре. Вошли не спеша, соблюдая старшинство и родословие. Иван Михайлович Воротынский громко, словно читая акафист, изрек:

— Государь Василий Иванович! Собрались мы вкупе: бояре, дворяне и посадские и, составя приговор, просим тебя сойти с престола государева. Для прокорма и чести возьми в удел Нижний Новгород.

— Иван Михайлович, — дрожаще выговорил Шуйский, — противу народу московского спорить не могу, оставляю боярской думе царство.

Наутро Василий с Марьей перешли в прежний свой дом, и сразу в тот же день начал Василий подвохи строить. Писал купцам, подсылал своих людишек к стрельцам, чтобы его снова на царство позвали («...а вас, верных моих воинов, милостыней не оставлю и денежной дачей и землею пожалую»).

Проведали о переписке Шуйского.

— Постричь в монахи след Василия, тогда уж иноку царем быть невместно.

А в прежнем доме Шуйских былой царь сидел за

столом и писал. Окно раскрыто и неистовое солнце мешало Василию Ивановичу видеть написанное, слепило глаза.

— Все за пером и за грамотами! — Марья неслышно подошла и вырвала из пальцев Шуйского гусиное перо.— Окстись, старый! Не поспешай, умник. Добра с твоих грамот не жди, сидел бы тихо, не мучил воду-то.

— Замолчь, Марья! Царицей вновь будешь во дворце.

Марья задумалась:

— Царицей-то хорошо, боярышни перед тобою на пузах ползают, почет. Да боязно, Василий, как бы беды не приключилось! Брось-ко перо-то.

Права оказалась Марья, чуяла беду.

Снова пришел Захар Ляпунов, с ним князь Тюфякин, дворяне, иеромонах и монахи. Послушник нес сверток монашеского платья.

— Для чего пожаловали, господа? — Василий Иванович со скамьи не поднялся.— Кажись, никого не приглашал, да и монахи мне ни к чему, в храм хожу неукоснительно, у святого причастия каждый год бываю.

— Мы к тебе не шутковать пришли.— Ляпунов цепко взял Шуйского за плечо.— Ты, князь Василий, повинен в злых умыслах на государство, похотел снова на царство сесть, стрельцов баламутишь. Утвердили мы тебя и жену твою Марью в монахи. Помолитесь в монастырях за грехи свои и наши.

Марья кинулась на Ляпунова:

— Осатанел ты, что ли? Куда мне в монашки? Молода еще. Не желаю! — И так лягнула Захара ногой, что тот присел.

— Уберите собачью дочь!

Дворяне подхватили Марью под микитки, свели на улицу, там уже два возка стояли. Посадили в один возок Марью — и на Арбат к Воскресенскому девичьему монастырю.

— Насильство творишь, Захарка! — Василий встал.— Почто царицу паскудишь?

Тогда схватили Василия. Крепко держали за руки, за голову, тот плевался... Вырваться не смог. Иеромонах ножницами отхватил клочок его жидких легких волос.

— Постригается раб божий боярин Василий в иноческий чин. Повторяй за мной словеса отречения.

— Кукиш вам! — прохрипел Василий Иванович и замолчал.

Князь Тюфякин за него давал иноческий обет. Далее пошло безобразие. Срывали с Шуйского кафтан, рвали одежду, надевали рясу.

Василий Иванович ни слова — молчал.

— В Волоколамскую обитель, — командовал Захар Ляпунов, — на хлеб и на воду строптивца!

Выволокли, ровно куль муки, швырнули в возок и умчали.

Вечером приставили стражу к палатам братьев Шуйских. И кончились Шуйские для дальнейшей истории царства Московского. Память лишь о них осталась недобрая, печальная, стыдная память.

32. ГЕРМОГЕН И БОЯРЕ

Москва осталась без главы государства. Посадские сходились на торжках у церквей, стрельцы шумели в слободе, наемные рейтары выжидали, бояре и дворяне спорили, как быть. Начальным человеком в Московском государстве теперь считался патриарх Гермоген. Семидесятилетний старец, искренне болевший за отчизну, он долго взбирался по ступеням иерархической лестницы. Трудное это было восхождение, он не принадлежал, как большинство высшего духовенства, к знатым родам. Выходец из посадских низов, он считал чаянья земского населения своими чаяниями, и в это смутное время желал только одного — крепкой центральной московской власти. Признать иноземного королевича-католика, находившегося под влиянием своего отца Сигизмунда, яркого ненавистника Руси, он не мог, никакого соединения — унии двух держав под властью иноверца — не желал, о признании тушинского самозванца с его разгульной воровской ратью тоже не помышлял. Лучшим выходом Гермоген считал избрание всей землею царя из русских фамилий, но для сего надо было созвать земский собор из представителей всех сословий. Сделать же это теперь было невозможно: шведы в новгородских пределах, Сигизмунд

у стен Смоленска, гетман под Москвой, Вор в Коломне. Где уж тут собирать всенародный собор!

Претендентами на царство выдвигались князь Василий Васильевич Голицын и четырнадцатилетний Михаил Романов — сын митрополита Филарета. Но против них были многие из бояр. И временной властью в Москве, а стало быть на Руси, ибо присягнувшие царю Василию города северные, волжские, сибирские признавали только то правительство, которое признавала столица государства, — стала боярская дума, где первоприсутствующим был старейший боярин князь Федор Мстиславский.

Вот что говорилось в крестоприводной записи-присяге москвичей боярской думе:

«Все люди били челом князю Мстиславскому с товарищи, чтобы пожаловали, приняли Московское Государство, пока бог даст государя. Будем слушать бояр и суд их любить, что они за службу и за вину приговорят; за Московское Государство и за них, бояр, стоять и с изменниками биться до смерти; друг на друга зла не мыслить и не делать, а выбрать государя на Московское Государство боярам и всяким людям всею землею».

Эта присяга несомненно редактировалась Гермогеном и отвечала тогдашним насущным нуждам. Беда была в том, что дума состояла из разных бояр: из старых родовитых и новопожалованных; туда входили и окольные, и думные дворяне, и думные дьяки, и высшее духовенство, а единомыслия между ними не существовало.

«Все врозь, а никто до государства», — сетовал современник.

Последним оплотом Москвы были стрелецкие, рейтарские и служилые полки, насчитывающие тридцать тысяч воинов, — это все, что оставалось у правительства. Посылать их в сражение с самозванцем и гетманом опасались: а вдруг разобьют? Что тогда с Москвою станется?

А в Москве готовилась измена.

Захар Ляпунов был не похож характером на брата Прокопия. Рязанский воевода Прокопий Ляпунов, несмотря на приверженность дворянским интересам, что побудило его уйти от Болотникова, все же был русским человеком, захватчиков иноземцев отнюдь не

жаловал и никогда бы не присоединился к тушинцам. Прокопий был предан Махаилу Скопину, видел в нем достойного государя. Захар же переметывался из одной крайности в другую. Когда он понял, что в боярской думе ему не властвовать, он стал искать дружбы со Лжедмитрием и его тушинскими боярами.

Он сообщил в Коломну о положении в Москве и через приспешников начал возмущать посадских и холопов, чтобы они предались самозванцу, который отдаст им земли и имущество московских бояр.

Гетман, узнав о замыслах Вора, направил из Можайска боярской думе предложение признать царем королевича Владислава, целовать ему крест, и тогда его войска окажут помощь Москве, разобьют тушинцев,— настанет долгожданный мир.

Бояре склонились на предложение гетмана: лучше Владиславу-королевичу служить, чем быть побиту от воров. Патриарх и митрополит Филарет советовали отложить ответ до земского собора. С утра допоздна в боярской думе шли споры. Московские дьяки, понаторелые в составлении грамот, судили и рядили, как бы похитрее составить договор с литовским гетманом.

В договоре требовалось, чтобы королевич венчался на царство по древнемосковскому обычаю, чтобы не заводил костелов на русской земле, чтобы принял православие и женился на русской боярышне, чтобы уважал патриарха и достояние церквей, чтобы не жаловал чины иноземцам и держал совет с боярской думой... Договор был длинный и пунктов множество.

Бояре униженно упрашивали патриарха:

— Согласись, владыка, на царевича Владислава!

— Иноверец он, пусть примет православие и утвердит державу в ее прежнем достоинстве, пусть уничтожит Вора, тогда со стеснением сердца благословлю.

Дума утвердила, и послали договор в Можайск гетману Жолкевскому.

33. ВОРА ЗАРЕЗАЛИ

А между тем шайки Вора угрожали Москве. Низы роптали, бояре заседали, спорили, чуть ли не за бороды друг дружку хватали, а уж лаю-то, лаю было в царских палатах — и сказать невозможно!

Жолкевский помог: совместно с московскими полками Вора разбили, Коломну очистили. Самозванец бежал в Калугу.

— Ничаво! — сказал. — Отсидимся в Калуге. Весной вдругорядь на Москву двинемся.

Его отряды сновали по окрестным селам, отнимали у мужиков последние запасы, даже на посев не оставляли. Обещали: «Станет государь наш царем на Москве — со всеми вами разочтемся».

Марина жила в Калуге. Вор не любил ее, ему претило ее шляхетство, ее высокомерие, он унижал ее, трепал за косы, но сломить гордость так и не смог. Марина считала себя царицей даже независимо от мужа, ведь ее при покойном Димитрии короновали в Москве. И она писала в Самбор родным и королю, именуя себя государыней московской. Она была беременна от Вора и мечтала воспитать ребенка в правилах латинской веры.

Недолго отсиживался в Калуге тушинский царек. Приближенные теперь с ним не считались. Шляхтичи называли его «лайдаком» — обманщиком, переходили к гетману или ехали в Смоленск.

Один из татарских сотников Петр Урусов, мстя Вору за казнь владетельного татарского князька, поклялся его убить. Вора заманили на охоту. В заснеженном лесу к нему подъехали татары, сдавили его коня своими плотно — не пошевелиться.

— Бачка! — Обнажили кривые сабли. — Молись своему богу, кончать с тобой будем.

— Что вы, ребята! — Побледнел Вор. — Аль неведомо, какая злая казнь ждет вас? Четвертуют и языки поганые вырвут.

— В степь уйдем. Нам твои угрозы смешны. Клянйся богу.

Как ни молил татар Вор, какие награды ни сулил, ничего не достиг. Непроницаемы были их лица, беспощадны щелки косых глаз...

Шут самозванца, бывший при его смерти, добрался до Калуги.

Марина Юрьевна с криком: «Царя погубили, царя!», — побежала по городу, даже шубку позабыла накинать. Стучала во все ворота.

— Ратуйте, панове! Ратуйте, казаки! Государя погубили! Поход! На Москву!

Была декабрьская ночь. Тускло маячили колокольни церквей. Перекликались дозорные казаки. И бежала по городу, распустив косы, пани царица Марина Юрьевна, и ее истошные крики то замирали, то поднимались к звездному небу.

34. ПЕРВОЕ ОПОЛЧЕНИЕ

Москвичи присягнули королевичу Владиславу. Присягали невесело. Но что делать? Кругом враги — шведы и поляки, Литва и воровские шайки. Куда податься? Гетман от имени Речи Посполитой клялся, что королевич будет блюсти русскую землю, примет православную веру и вступит в брак с московской девицей.

Король обманул. Сына не дал: молод еще, а вот он сам, Сигизмунд, опытен, знатного рода и не прочь прибавить к своему званию титул царя Московского и великого князя Владимирского.

Бояре послали под Смоленск большое посольство, чтобы явил милость король, пожаловал королевича Владислава, коему Москва присягала. Посольство возглавили бояре с митрополитом Филаретом и Василием Голицыным на челе. Толку от посольства получилось мало. Принимали без уважения, король настаивал на своем и никакого разговора о принятии Владислава в православие, о целостности русского государства не вел. Считал, что лучшего царя для Руси, чем он, быть не может. Посольство с этим не соглашалось. Послам урезывали пищу, держали в тесноте и обиде.

Московские бояре пустили польские хоругви в столицу. Временное правительство, называемое «семибоярщиной» по числу главенствующих членов боярской думы, никакого влияния на дела государства не имело, уважением не пользовалось, и захватчики вообще перестали с ним считаться.

Происходили стычки между горожанами и поляками.

Проживающие в Кремле бояре и их семьи были взяты панами в заложники. Захватчики засели в Кремле крепко и надолго.

Для освобождения Москвы составилось первое ополчение. Но не единое было это ополчение. Да и

как оно могло быть единым? Под стенами столицы стояли: вольницы Ивана Заруцкого, казаки Дмитрия Трубецкого и служилая земская рать, куда входили и вологодские чернососшные мужики, и ярославские, и рязанские, и люди жилецкие, и простонародье тяглое и нетяглое, и дворяне Прокопия Ляпунова. Согласия между начальниками ополчения не было. Грозилась саблями, взводили друг на друга напраслины. Самыми беспокойными были отряды Заруцкого. И кого только тут не было! Беглые холопы и отставшие от своих полков посольские и литовские жолнеры, украинские казаки и человеческая накипь — опустившиеся люди, которым было все равно что делать: грабить, убивать или насиловать. Наиболее спокойной была земская рать. Она не грабила окрестные села и городки, довольствовалась своими запасами.

Полки Сигизмунда, шедшие на помощь полякам к Москве, отражались земской ратью и казаками Трубецкого.

Прокопий Ляпунов желал объединить войска ополчения под своим руководством, но казаки противились.

— Вы, дворянские брюханы, в свою пользу стараетесь! — шумели они на сходах.

— О земле порадейте! — взывал Ляпунов.

Ему отвечали:

— Хитер ты, Прокопий, о кой земле речь держишь? О помещичьей?

На одном сходе (казачьем кругу) Ляпунова обвинили в измене и, не слушая полковников, изрубили в куски.

Ополчение распалось. Северяне ушли к себе, покинули лагерь и остальные земские силы...

А дела на Руси становились с каждым днем все хуже и хуже.

Марина родила «воренка» — сына Ивана, и остатки тушинцев в Калуге присягнули ему как царю. А в Пскове свой новый самозванец...

Москвичи, узнав о гибели Ляпунова, об уходе земских сил, опечалились.

Из Чудова монастыря патриарх писал в Нижний Новгород, в Вологду, в Ярославль.

«...Разрешаю вас, православные, от клятвы Владиславу. Стойте за русскую землю, и наше благословение во веки веков будет с вами».

Старец призывал всех русских — и бояр, и торговых людей, и посадских, и крестьян — к отпору захватчикам, к освобождению Руси. Шли послания и из Лавры от архимандрита Дионисия в стан Трубецкого. Он надеялся, что и казаки встанут единою душою за избавление от неверных. В грамотах народу и Гермоген и другие деятели требовали также не признавать еретичку Марину и ее «воренка» и свейского королевича, ибо и шведский король выдвигал претендента.

Героически оборонялся от королевских хоругвей и артиллерии Смоленск. В июле 1611 года с удвоенными силами Сигизмунд предпринял приступ крепости. Смело защищались смоленские граждане. Воевода Шеин, израненный, вместе с тремя стрельцами вел рукопашный бой с десятками рыцарей и был пленен. Смоленяне засели в пороховой башне и, чтобы не сдаваться врагу, взорвали и себя и башню.

В королевском стане воеводу Шеина при допросе пытали. Его жену и детей, как скот, разделили между королем и вельможами.

Взятие Смоленска в Речи Посполитой праздновали. Поздравляли короля и друг друга. Польша ликовала. Сигизмунд двинул войско на Москву и овладел Вязьмой.

35. ВСЕНАРОДНОЕ ВТОРОЕ

И тогда прозвучали как набатные колокола, призывы нижегородцев. И самым звучным колоколом были речи к нижегородским гражданам земского старосты Козьмы Минина Сухорукова, ведавшего хозяйством городской тягловой общины. Человек горячий, умный, деловой, обладавший незаурядным ораторским даром, пользовавшийся доверием низов, он по праву возглавил движение за освобождение Родины.

В октябре 1611 года Минин обратился в земской избе — близ церкви Николы Чудотворца, в Торгу — с призывом к посадским о сборе денег и драгоценностей для найма ратной силы. Необходимо было не только крепкое воинство, но и обеспечение его кормами, фуражом и жалованьем. Минин первый внес все свои деньги, а за ним пошли «...и прочие гости и торговые люди приносящие казну многу».

Сделали роспись раскладки — кому сколько в казну платить.

Нижегородцы «на воеводском дворе совет учиниша...», где похваляли Минина.

Стряпчий Иван Биркин, посадский Василий Юдин, протопоп Савва, печерский архимандрит Феодосий приняли деятельное участие в сборе средств. Они создавали второе земское ополчение. Их советами пользовались власти: воевода князь Василий Звенигородский, его товарищ дворянин Андрей Алябьев и дьяк Василий Семенов.

Готовились к ополчению деятельно, дружно. И воеводу сумели избрать честного, ни в каких изменах не замеченного, а наоборот, доказавшего в прежней службе верность Москве, стольника князя Дмитрия Михайловича Пожарского, человека еще молодого, смелого.

Род Пожарских считался в опале, которую наложил еще на отца князя царь Иван Грозный, отнявший у него в опричнину лучшие поместья. И Борис Годунов особого расположения к Пожарским не проявлял. Когда же тушинский Вор шел на Москву, молодой Дмитрий Михайлович, будучи воеводой маленького Зарайска, не только отстоял город, но и нанес поражение тушинцам. Себе в товарищи для заведования земской казною Пожарский позвал Козьму Минина.

Ополчение собралось крепкое: шли крестьяне чернослошные, шли стрельцы, шли посадские, шли и те, кто понял свою вину и отстал от воровских шаек. Ярославль стал ставкой Пожарского и Минина, центром управления всеми земскими делами. Северные города присоединились к Пожарскому, чем особенно дорожили вожди ополчения: ведь Север в основном был кормильцем войска.

Двинулась Русь в освободительный поход. Вологжане в грамотах звали северные города к объединению.

В Вологду из Галича прибыл с дружиной воевода Петр Мансуров. Собрал он вологжан на Софийской площади:

— Помогите, православные! Кто молод — пусть берет коня, у кого нет коня — берет бердыш или пищаль и идет со мной в Ярославль на соединение с князем Пожарским. Прошу именитых купцов и монастыри казну нашу пополнить.

Зов Петра Мансурова услышали и в Тотьме, и в Великом Устюге, и в Сольвычегодске, и в Устюжне-Железнопольской, и на Белозерьи. В Вологду стали стекаться северяне. Ожила Вологда. Откуда только и взялись припасы! Везли муку и рыбу из Прилуцкого и Кирилловского монастырей, который выдержал набег воровских шаек, везли оружие из Устюжны, везли соль, крупу, сало и масло от Строгановых из Сольвычегодска, от них же — и пушки.

Помещики гарцевали на конях. Крестьяне, хоть голодно и бедно жили, для общего дела последние поскребыши несли, а сами, подпоясавшись лыковыми поясами и взяв топоры, вливались в дружину Мансурова. Неумолчный гул стоял в кузницах. День и ночь ковали мастера мечи, копья, панцири. Кровью накаливались наковальни, и тяжело ухали меха.

Вологодские власти и земская стража следили за порядком в городе, но и без этого порядок был полный.

36. АРЕЕВ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ НА БРАНЬ

Утром осенним, когда золотились маковки церквей и бодрила прохлада, в опочивальню Ареева пришли Никита, Гурий и Матюша. По их лицам догадался Григорий Антипыч, о чем разговор будет.

— Благослови, батюшка, к Мансурову, в конный строй, — попросил Никита.

— Будь благодетелем, Григорий Антипыч, и нас без коней не оставь! Мы уж те отработаем, коли живы останемся, — поклонились Гурий и Матюша.

Вынул из укладки кожаную кису Ареев — не так много в ней рублевиков — и вместе с молодыми отправился покупать коней.

Он жалел сына и иконников — они у него как родные жили, но и гордился тем, что из его подворья трое воинов шло на великую службу.

Вологжане провожали полки Мансурова. Звонила София во все колокола. Каждому хотелось увидеть своего родного ратника — почитай, нет такой семьи, откуда не было бы воина.

Впереди ехали на серых лошадях литаврщики, они ударяли в серебряные литавры громко, упоенно. За ними на белом арабском коне — сам воевода Петр

Иванович Мансуров в панцире. Шлем на Мансурове немецкой работы, позолоченный. Суровое обветренное лицо, окаймленное седеющей бородой, полно решимости. Он снял с головы шлем, приветствуя провожающих. Чуть поодаль — воин со знаменем Спаса, а дальше — конный строй и среди всадников — Никита, Гурий и Матюша. Их глаза искали в толпе Григория Антипыча. Тот стоял впереди в синем кафтане; увидев своих, помахал шапкой.

— Вертайтесь, сыны, с честью! — И смахнул с глаз слезу.

За конными полками — пешие. Кто в стрелецком кафтане с пищалью, кто в сермяге с бердышом, кто с топором за поясом.

Шли бодро, шутили: «Готовьте, бабы, брагу и пиво, скоро вернемся».

Толпа вологжан провожала земское войско до Ярославской дороги. Там попы отслужили молебен Георгию Победоносцу и Димитрию Прилуцкому, и полки двинулись дальше.

*
* *
*

В городе наступило затишье, но не унылое, а с надеждой на близкую победу.

Из Москвы приходили вести: в темнице от голода скончался старец Гермоген, в Ярославле подкупленный врагами изменник хотел убить Пожарского — только кольчужная сетка под кафтаном спасла князя. Были и радостные: полки Пожарского, а с ними и других воевод, в том числе Петра Мансурова, отбросили вражеские отряды от окрестностей Москвы, и захватчики вынуждены спасаться в Кремле.

Самыми крупными силами, стоящими под Москвой, были объединенное ополчение Пожарского и казачье войско Трубецкого. Если у Пожарского соблюдалась дисциплина, то у Трубецкого царила вольница: у казаков в куренях были атаманы, каждый из них считал себя самостоятельным. Атаманы спорили между собой, требовали у Трубецкого жалованье; казаки любили погулять, выпить, к тому же среди них находились присташие в пути бродяги из шаек атамана Заруцкого, который бежал с Мариной на юг, эти бродяги вносили разлад в ряды войска.

Сам Трубецкой неохотно подчинялся всенародному вождю Пожарскому. Предки его когда-то имели уделы, а Пожарский принадлежал хотя и ко княжескому, но захудалому роду, и Трубецкой предъявил права на власть, равную власти главы ополчения. На сборе воинских начальников решили считать главными воеводами обоих, и Пожарского и Трубецкого, и впредь, до изгнания панов из Кремля и созыва земского собора, им обоим управлять делами Московского царства. Вести же казней и снабжением войска назначен был нижегородский гражданин Козьма Минин.

Захватчики в Кремле страдали от тесноты, от болезней, не было топлива, продовольствие пришло к концу. Сигизмунд обещал двинуть из Смоленска полки на соединение с осажденными. Польские начальники выпустили из Кремля заложников — жен и детей московских бояр. Пожарский велел с честью принять истомленных женщин.

37. ПРОПИЛИ ВОЛОГДУ ВОЕВОДЫ

В Вологде в воеводском приказе шло пьянство. Пили за здоровье Пожарского, Трубецкого, Мансурова и за свое собственное. Караульная служба ослабла.

Почтенные вологжане предупреждали: смотрите, господа стольники, за стрельцами, по ночам дозоры слабы, а караульщики спят, как бы беды не вышло! Вон сколько воровских шаек под Вологдой бродит!

Воеводы пренебрежительно хмыкали: «Аль мы сами не знаем? У страха глаза велики».

Холодной сентябрьской ночью Григорий Антипыч пробудился от алых отсветов в окне, бешеного собачьего лая и неистового набатного звона.

Конюх Евстигней уже стоял на крыльце.

— Батюшка Григорий Антипыч! Воры в Вологду прорвались!

Горел купол Софии, в пламени был детинец, на улице гомонили воры, в соседнем дворе кричала девушка: «Спасите, добрые люди, не дайте сгинуть!»

— Надо по-соседски помочь, видать, на Парашу напали.

— Куда нам, старикам,— отозвался Евстигней.

— Не моги так говорить, Евстигнеюшка, грех!

Ареев снял со стены саблю, Евстигней вооружился дубиной — так оно сподручней. Вбежали в распахнутые соседские ворота.

Двое бородатых разбойников привязывали девочку-подростка Парашу к конскому седлу. На это глядел низенький пан.

— Не кричи, паненка, успокойся. Я тебя развеселю, як бога кохам!

На дворе в луже крови лежали зарубленные мать Параша и старуха стряпуха.

— Ну, Евстигнеюшка, вспомняем младость! — И Ареев с таким остервенением набросился на пана, что тот, не успев выхватить саблю, упал на землю.

— Ах, паскуды! — Евстигней сбил дубиной одного бородача, а второй, вскочив на коня, покинул двор.

Ареев и Евстигней перенесли Парашу к себе в дом. Пусть отойдет, горемычная. Отца искалечили, ироды, а теперь матери лишили — горькая сирота!

В городе и посадах долго еще не утихали пожары, крики, разгром. Воры заняли архиерейское подворье, епископа посадили под стражу, десятки вологжан, захваченные врасплох, были уничтожены.

Узнав, что на выручку Вологде спешат близ расположенные земские отряды, воры покинули город.

Архиепископ Сильвестр отписывал в Москву:

«Великой Российской державы государства Московского боярам и воеводам князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому с товарищи богомолец ваш Сильвестр архиепископ Вологодский, и архимандриты, и игумены, и протопопы, и попы, и вологодские земские посадские остальные людишки челом бьют.

В нынешнем, господа, 1612 году сентября в 22 день с понедельника на вторник на остаточном часу ночи, грех ради наших и всего православного христианства, разорители, истинной нашей православной веры и креста Христова ругатели, польские и литовские люди, и черкасы, и козаки, и русские воры пришли на Вологду безвестно изгоном и город Вологду взяли...

А были у ворот на карауле немногие люди, и те не слышали, как литовские люди в город вошли, а большие ворота были не замкнуты. А как, господа, польские и литовские люди, черкасы и русские воры город пожгли и людей посекали, пошли с Вологды сентября 25 числа, и ныне, господа, город Вологда жже-

ное место. Окрепити посады и снаряд прибрати некому; а которые вологжане жилецкие люди утеклецы, в город сходиться не смеют; а воевода Григорий Образцов с Бела-озера с своим полком пришел и сел на Вологде, но никто не слушает, друг друга грабят; и будет, господа, вам впредь для земской помощи и для приморских городов хотети укрепити город Вологду, и вам бы, господа, воеводу крепкого прислати и дьяка, а все, господа, делалось хмелем, пропили город Вологду воеводы».

38. ОСВОБОЖДЕНИЕ

22 октября 1612 года Москва была освобождена от захватчиков народным ополчением. Козьма Минин разбил под Москвой польский отряд гетмана Хоткевича, шедший с продовольствием на помощь осажденным, — и те сдались.

Пожарский и Минин, увидев изможденных, голодных и больных захватчиков, выходящих из ворот Кремля, распорядились тотчас накормить и подлечить их.

В сражении за освобождение Кремля погиб Гурий Чуранов. Он отважно сражался с двумя шляхтичами, но сзади налетел третий и сразил молчаливого вологжанина.

Никита Ареев и Матюша Исаков остались в рядах дружины Пожарского до созыва земского собора.

Григорий Антипыч, получив весточку от Никиты, отписал ему: «Жена твоя, а моя невестка Арина Сергеевна и дети здоровы и в недалеком времени будут на Вологде. Послал я за ними Евстигнея и нанял еще земского ярыжку Ваську Шерстобитова для охранения».

Вологда отстраивалась.

Воеводы стольники князь Михаил Григорьевич Темкин-Ростовский и Григорий Григорьевич Пушкин приказали стрельцам и земской страже помогать погорельцам, раз «промашка вышла». И с утра до поздняя в городе скрипели пилы и тьякали топоры.

В феврале 1613 года земский собор выборных чинов всей Руси избрал царем шестнадцатилетнего Михаила Романова, сына митрополита, в миру — боярина Федора Никитича.

Но еще долго шайки и отряды захватчиков бродили по северу Руси, причиняя горе жителям деревень и сел. С ними боролись, уничтожали, заводили в непроходимые лесные дебри, как это сделал старый костромской крестьянин села Домнино Иван Осипович Сусанин, погибший под шляхетскими саблями.

В Вологодском крае сильное сопротивление врагам оказал Кирилло-Белозерский монастырь. Дважды большие отряды полковника Песоцкого и пана Бобовского подступали к стенам монастыря, но взять штурмом его не смогли. Десятки воров и сам полковник Песоцкий были убиты.

Пострадал Спасо-Прилуцкий монастырь. Грабители сожгли в трапезной двести вологжан, перерезали весь монастырский и крестьянский скот.

Так продолжалось до 1618 года.

В 1617 году правительство царя Михаила заключило в Столбове мир со Швецией. Шведы удерживали за собой Копорье, Ямь, Ижору, Орешек и Кесгольм, но возвратили Новгород, Старую Руссу, Порхов, Ладугу и Гдов.

В 1618 году в деревне Деулино под Москвой было подписано деулинское перемирие с Речью Посполитой, которая отзывала из Руси всех своих солдат и шляхтичей. К Польше перешли Смоленск, Стародуб и еще несколько городков.

В Вологде в результате Смутного времени и последующих затем «злодейских налогов» для пополнения пустой государственной казны двести восемьдесят пять домов обезлюдело.

В середине семнадцатого века Вологда вновь обрела свое значение, как важный торговый и перевалочный центр северной Руси. Увеличилось население, строились новые подворья и возводились на средства купцов великолепные храмы.

Работала и мастерская Ареевых. В ней занимались живописным делом мастер Матвей Лукич Исаков, Никита Григорьевич Ареев и его сын Егорушка. Сам дед Григорий Антипыч выполнял лишь особой сложности композиции, требующие тонкости и художественности кисти.



РОССИЯ НА ГАУПТВАХТЕ



ВАН Павлов служил в лейб-гвардии Павловском полку. Как и подобает павловцам, был курнос, широкоплеч и голубоглаз: таков в полку обычай — все должны быть одного ранжира, цвета глаз и курносы. Император Павел Петрович создал свой полк по образцу и подобию своему, яко господь бог Саваоф.

Когда полк в высоких киверах, темно-зеленых куцых мундирах, белых лосинах вышагивал, а не шел (при государе Павле только вышагивали) по Марсову полю — картина была феерической. Не верилось, что это люди, — так едины поднятые носки сапог; ложись на мостовую, смотри лишь на ноги (ать-два! ать-два!) и не заметишь никакого отклонения — машины, артикулом предусмотренные: носок к носку — линия геометрическая!

Государь однажды самолично изволил прилечь на землю, не пожалел мундира. Дождь моросил, а он, священная коронованная особа, лежа, в подзорную трубу следил за четким журавлиным шагом; и лишь

когда весь полк прошагал мимо, он вскочил и в великой радости просипел:

— Хвалю молодчиков! По чарке за мой счет! — И командиру: — Милосдарь! Произвожу вас в генерал-майоры!

Полковник — с коня и государеву ручку лобызать.

— Раб вашего величества до конца дней своих!

Государь обошел фронт. И чем-то понравилась ему физиономия Ивана Павлова. Тот завороченно большими глазами взирал на императора.

Государь остановился перед ним:

— Кто?

— Иван Павлов, ваше императорское величество.

— Ишь ты! Павлов! — Государь улыбнулся. — Фамилия хороша, вид исправен. Сколь служишь?

— Третий год, ваше императорское величество.

— Осмелюсь доложить, — сообщил шедший сзади Павла Петровича командир полка почтительно, — рядовой Павлов субординарен и грамотен.

— Субординарен? Хорошо! Грамотен? Для солдата лишнее. — Государь постоял минуту, подумал. — В сержанты Ивана Павлова за отличие по фрунту! — И дальше зашагал, поправляя треуголку, только пудренная косичка, засунутая в кожаный футлярчик, подпрыгивала. — Молодцы павловцы!

— Рады стараться, ваше императорское величество!

В казармах новоиспеченный генерал-майор вызвал в дежурное помещение Ивана Павлова. Генерал лично не знал его — разве всех солдат упомнишь? Это дело ротного и фельдфебеля. Рапортовал же он о Павле, желая сделать приятное государю. Теперь, рассматривая солдата, нашел в нем и субординацию и преданность. Только в одном сомневался, грамотен ли.

— Скажи-ка, братец, грамотен ты?

— Так точно, ваше превосходительство! Мой крестный Востряков — конторщик господ Межаковых — обучил. Писать и считать могу, ваше превосходительство.

И то, что Павлов поименовал его по новому генеральскому чину, привело командира в отличное настроение.

— Поздравляю тебя, господин сержант. В какой роте примешь полувзвод?

— Покорнейше просил бы, ваше превосходительство, определить меня в куаферы и цирюльники.

Генерал поморщился.

— Где сие мастерство приобрел?

— С десяти лет в Москве в мастерской мусью Андре. У господина Межакова служил, его самого, барчуков, барыню и барышню причесывал. Ненароком госпожу опалил щипцами, и сдали меня по рекрутской квитанции. Опосля пожалела госпожа, только я уже записан был в присутствии и не захотел вернуться.

— Не могу, братец.— Генерал посмотрел в окно: на плацу сержанты и капралы учили солдат штыковому бою.— Не могу. Вдруг государь спросит о тебе? Что я ему скажу? В цирюльниках служит? Он меня не похвалит. Иди в роту.

— Слушаюсь, ваше превосходительство!

Иван Павлов по-уставному повернулся — любо-дорого посмотреть! — и, четко отбивая шаг, вышел.

— Хорош сержант! — вслух сказал генерал.

В Михайловском замке в нижнем этаже — апартаменты цесаревича Александра Павловича и его молодой супруги Елизаветы Алексеевны. Они живут в постоянном страхе. Страх липкий еженощный, именно еженощный. Александр Павлович боится: ночью разбудит его стук прикладов и грубых солдатских сапог — и его по приказу самодержца всея России Павла Первого арестуют, препроводят в крепость, а жену постригут в монахини. В истории государства Российского таких примеров не счесть.

Да, не любит цесаревич своего папашу, не любит. И тот смотрит на сына с подозрением, да и как не смотреть, когда покойная бабка Екатерина только и мечтала, чтобы ее старший внук, минуя отца, стал императором.

Волнуется Александр, плохо спит и просыпается с черными кругами под глазами.

— Плохо, сударь, выглядишь,— говорит ему утром отец, когда Александр приходит в императорский кабинет пожелать доброго утра.— Плохо выглядишь, милосударь. Все небось вспоминаешь, ваше высочество, бабушкину опеку, ась?

— Я, государь, вас почитаю и о вашем здравии молюсь.

— Чего молиться? Я здоров, всегда в заботах об обывателях, об армии. Вам манкировать службой нельзя, я выбью из всех вертопрахов и умников, кои в столице проживают, потемкинский дух!

Павел Петрович приближает к нежному красивому лицу сына грозящий палец.

— Иди, ваше высочество, и помни, что самодержец — я и могу поступить по примеру прадеда, Великого Петра.

Александр выскальзывает из кабинета почтительно, в коридоре вытирает батистовым платочком слезы обиды и страха. Он считается командующим петербургской гвардией, но только считается — он целиком под контролем отца.

Цесаревне, наливающей ему из серебряного кофейника утреннюю чашечку кофе, Александр жалуется тихим звенящим голосом.

— Ох, дорогая Элиз, бабушка опять шпынял меня. Невыносимо!

*
* * *

Екатерина Вторая любила старшего внука Александра, воспитанного ею, мало сказать — любила, она возлагала на него великие надежды как на преемника. Да и верный ее друг и первый советник Потемкин считал:

— Александр Павлович достоин быть государем и по характеру мягкому, дипломатичному: он, матушка, ваш возлюбленный внучек, мягко стелет, да жестко будет спать. Воспитали его швейцарцы да вольтерьянцы, а он, милый наш баловень, все по-своему делать будет — большой актер! Александр Павлович истинно, и по крови, и по нраву, ваш внук и царствовать по-вашему будет.

— Да, — Екатерина улыбалась мечте. — Ты всегда, Григорий Александрович, мои мысли угадываешь. Хочу издать манифест о неспособности Павла Петровича править империей и объявить наследником Александра. Пусть Павел живет в Гатчине или Павловске на положении удельного князька, для занятий больше батальона солдат ему не дам, а то камуфляж устроит! — И со вздохом: — А там видно будет...

— А там, матушка... всякое бывает.

— Хорошо бы, Гришенька, от султана Царьград отвоевать и сделать Константина греческим царем.

— Я сам о сем проекте думаю...

Но не успел Григорий Александрович, светлейший князь Таврический, сие исполнить — умер в знойной степи по дороге из Крыма. И умирал он, привыкший к роскоши, лежа на пыльной земле, прикрытый простым военным плащом.

Всякое в жизни бывает...

Екатерина написала все же манифест. Держала его у себя в кабинете в тайнике, но медлила сдать в правительственный сенат для утверждения. И вдруг удар — речи лишилась, и правая рука отнялась.

Лежала и смотрела на придворных с ужасом. Знала, что в опочивальню вошла смерть. А примчавшийся сынок, урод упрямый, наскоро поцеловав у покойницы руку, стуча ботфортами, искал в кабинете документы. Спасибо графу Безбородко* — умный хохол: хладнокровно понюхав табачок из золотой табакерки, сказал:

— Не волнуйтесь, Павел Петрович, сей документ, о коем вы изволите беспокоиться, силы не имеет, сенатом не утвержден, а пошукаем мы тамочка...

Видно, знал, где находится манифест. Достал шкапулку. Павел Петрович взломал ее, нашел бумагу и облегченно:

— Слушайте, граф, я ваш должник! Оставайтесь навсегда моим помощником.— И обнял его.

И был прав: Безбородко для государя старался изо всех сил.

Став императором, Павел утвердил закон о престолонаследии, чтобы не было дворцовых переворотов, как после смерти Петра Первого. Теперь престол переходил по старшинству, и Александр Павлович стал цесаревичем.

Зная о бабушкином проекте, Александр ночами плакал от досады. Вот почему с утра цесаревич жил под постоянным страхом отцовского гнева.

* Безбородко Александр Андреевич (1747—1799) — выдающийся русский дипломат. С 1797 г. — канцлер.

Ивану Павлову в цейхгаузе выдали сержантский мундир с двумя широкими золотыми шевронами на рукаве. Взял он полувзвод в пятой роте, где раньше служил. Там и ротный капитан Епифанов выслужился из рядовых в офицеры и носил на груди золотую медаль за взятие Измаила, а фельдфебель Глебов был земляком из Кадниковского уезда.

— С тебя, землячок, магарыч причитается, — встретил Ивана пятидесятилетний, с нафабранными усами Глебов. — Далек пойдешь теперича, ишь, сами государь император изволили тебе улыбнуться.

— С моим удовольствием, только перенесу свой скарб в сержантскую.

— Сам не тащи. — И фельдфебель приказал новобранцу перенести вещи господина сержанта на новое место.

Для сержантов роты было в казарме особое помещение, и спали они не вповалку на войлоках, а на деревянных кроватях, и у каждой кровати — тумбочка.

Капралы-дядьки находились вместе с солдатами, а фельдфебелю полагался отдельный закуток.

Павлов в приватное время брил и причесывал офицеров роты и делал это не как казенный цирюльник, а по-художнически, чем и снискал уважение ротного Епифанова, поручиков Олсуфьева и Хвостова, прапорщика Гусева, и не только уважение, но и толику денег, так что угостить приятелей Иван мог.

Послали денщика за вином, сайками, солеными огурцами и студнем, благо трактир находился в том же квартале...

В роте была строжайшая дисциплина. Солдаты старались не подводить ротного и фельдфебеля, да и собственные спины берегли: чуть что — и шпицрутены. Никто из рядовых и капралов никогда не выдавал своих начальников, если они были люди, а не звери, как в четвертой роте, где капитан Михалевский и офицеры тиранили солдат.

Вот почему солдаты, проходя мимо фельдфебельского закута, поощрительно косили глаза на дверь.

— Гуляет Ваня с Авксентием Егорычем, шевроны празднуют, прокурат парень!

Заглянули к фельдфебелю капитан Епифанов и поручик Олсуфьев, молодой человек без фанаберии.

...Под вечер зажег сальную свечу Авксентий Егорович и долго сидели они с Иваном, вспоминая с тоской вологодские леса, рыбные озера, рубленные в кряж избы... вспомнили и родичей, фельдфебель — сына, Ивана ровесника, что нес теперь тягло у помещика Поздеева.

— Уж такой скаред, такой мучитель! Чтоб ему в аду гореть, да не сгореть! — сказал в сердцах о Поздееве Авксентий Егорович.

— Да и мои господа не лучше, только повальяжнее.

*
* *
*

У Ивана в селе Никольском, в главном поместье Межаковых, что на реке Уфтюге, осталась любовь — горничная Дуняша, беленькая, худенькая со льняной косой. Чтобы барышне Наталии Александровне было веселей учиться, гувернантка-француженка учила и Дуняшу. Приходский дьякон, семинарист, преподавал девочкам начатки закона божия, письма, чтения и арифметики. Потом барышня уехала в Санкт-Петербург в Смольный институт, и Дуняшу произвели в горничные. Надели серый холстинковый сарафан, повязали белый платочек на косы, и спала она теперь, как солдат, на войлоке у дверей барыниной спальни.

Будучи в добром настроении, когда ее причесывал Иван, госпожа говаривала:

— Жан, подрастет Дуняша — выдам за тебя, определю мясичину, поселю во флигеле и даже корову подарю, только старайтесь!

Иван благодарил, барыня смеялась:

— Сын будет — определю в куаферы, а девочка — в горничные. Довольны?

Но стоило Ивану щипцами — уж очень барыня торопилась, муж и карета ждали: надо было поспеть в Вологду в дворянское собрание на бал, — стоило Ивану чуть опалить голову госпожи — боже! — что тут поднялось! Разгневанный барин послал Ивана на конюшню.

— Там тебя, любезный, научат осторожности.

Кучер Федька, любимец Межакова, коротконогий,

силы неимоверной, сам имевший виды на Дуняшу, так выпорол Ивана, что тот больным трое суток пролежал на печи в избе у матери, барской кружевницы.

Тот же Федька и отвез Ивана в Вологду, где по приказу помещика сдал в рекруты.

Барыня через неделю вспомнила об Иване. Ни девушки, ни приезжий кадниковский цирюльник не могли сделать прическу, как надо.

— Александр! — требовала она от мужа. — Ты же потомственный дворянин, тебя знает губернатор, вели вернуть Жана. Если надо, дай исправнику барашка в бумажке.

Межаков поехал в Вологду.

— Иван Павлов — казенный человек, — со вздохом сказал исправник, отказываясь от конверта с деньгами, — ничего сделать не могу. Хлопочите у майора.

Воинский начальник — плац-майор Веретенников посоветовал:

— Уговорите Ивана Павлова подать слезницу губернатору и под ней утвердите свою подпись, но помните в виду, что Иван Павлов по всей сути и комплекции подлежит зачислению в лейб-гвардии Павловский его величества полк, о сем уже послана в канцелярию полка бумага.

Помещик встретился с Иваном Павловым в присутствии плац-майора. Парень не смотрел на Межакова и отвечал только Веретенникову:

— Никак нет, ваше благородие, к помещику не пойду, буду верой и правдой служить богу, царю и отечеству.

Так ни с чем и уехал Межаков в Никольское.

Пришлось нанять в Москве немца — куафера Франца и платить ему жалованье втридорога. Барыня успокоилась, хотя и не забыла о гордом Иване Павлове.

Вспоминали его мать, кружевница, да горничная Дуняша.

Дуня каждый год на пасху посылала ему через казенную почту письмецо, от своего и материнского имени кланялась и желала доброго здоровья и многих лет жизни.

Только третье письмо барыня перехватила: принесла его старая ведьма Елена Петровна — приживалка противная.

— Подумаешь, какие нежности! — воскликнула барыня. — Переписываются! Кто? Солдат и холопка! — Брезгливо разорвала письмо и надавала Дуне пощечин. — Ты смотри, я тебя, мерзавка, учила не солдатам письма сочинять! Запрещаю впредь это делать! В скотницы пошлю! Выдам замуж за Федьку-кучера, дерзкую!

Дуня плакала, в ноги барыне кланялась. Ничего не поделаешь — сердце гневом кипит, но разве возможно за кучера Федьку! Уж петля лучше! Вот и кланяйся!

— Простите, сударыня, пожалейте сироту!

— В первый и последний раз. — И барыня протянула ручку для поцелуя.

* * *

Обширная Вологодская губерния, утвержденная «матушкой» Екатериной Второй, простиралась аж до Уральских пределов. Уезды по величине — все равно что немецкие королевства и герцогства.

Уездов было десять: Вологодский, Грязовецкий, Тотемский, Вельский, Велико-Устюгский, Никольский, Сольвычегодский, Яренский и Устьысольский; кроме старинных городов, еще четыре поселения произвели в ранг городов уездных: Вельск, Грязовец, Кадников, Никольск.

Крестьянское население разделялось на три части. В восточных уездах преобладали казенные черносошные крестьяне, пользовавшиеся самоуправлением. Экономические жили на бывших монастырских землях: по указу о секуляризации монастырские владения, отнятые у церковников, переходили в ведомство государства — экономического департамента. Крестьяне платили в казну большие подати: рубль пятьдесят, а иногда и рубль семьдесят в год с мужской души. Занимались не только хлебопашеством, но и добавочными промыслами: валили лес, гнали деготь, плотничали, рыбачили, женщины ткали, плели кружева. Много семейные залезали в долги, продавали свои наделы, а крепкие хозяева, для которых подушная подать была не страшна, расширяли свои земли, брали батраков, выходили в богачи. Несравненно хуже было положение третьей части — бесправных помещичьих крепост-

ных крестьян. Преимущественно барские вотчины находились в Вологодском, Кадниковском и Грязовецком уездах. Помещики накладывали оброки на своих крестьян гораздо большие, чем платили крестьяне казенные. Те же крестьяне, которые ходили на барщину, испытывали невероятную тягость подневольного труда. Помещики и управители заставляли их работать по четырнадцать часов на барских полях. Когда же помещик строил поблизости от своей усадьбы завод, то крепостным становилось совсем невмоготу.

У Александра Михайловича Межакова в Никольском уезде был большой винный завод, дававший в год двадцать тысяч ведер водки. У богача Осипа Алексеевича Поздеева в Архангельском — стекольный. Условия труда у Поздеева были невыносимые: крепостные, работая у плавильных печей, обязаны были также заготавливать для завода уголь и песок. Под новый, 1797, год крепостные в селе Архангельском не выдержали, бросили работу, а семьдесят человек, вооружившись дубинами и поленьями, ворвались в барский дом.

— Кровопивец! Не секи крестьян! Не мучай стариков! Не гони на барщину по воскресеньям!

Прислуга разбежалась, семья помещика схоронилась на антресолях, кто-то из толпы ударил барина кулаком по шее.

Просвещенный масон отставной полковник Осип Поздеев упал на колени:

— Братцы! Все исполню по вашему желанью! Помилуйте только!

— Перекрестись! На икону гляди! Кланяйся пониже!

И Поздеев крестился, как дятел лбом стучал об пол.

Крестьяне ушли.

— Надо царю писать о барине, просить, чтобы нас в свои дворцовые крестьяне поверстал, — выйдя из ворот усадьбы, переговаривались крепостные.

Старый дьячок Николай Лаврентьев, грамотей и добряк, сочинил слезное прошение государю Павлу Петровичу. Снарядили мужики трех ходоков, снабдив их деньгами и харчами.

— Добирайтесь до самого царя-батюшки!

Но до царя, конечно, не дошли — в Вологде их арестовали, прошение отобрали, в полиции наказали розгами и отослали обратно к помещику.

Поздеев написал генерал-прокурору сената князю Лопухину о дерзком непокорстве крепостных, о том, что угрожали ему смертью и что он надеется на присылку войск для усмирения, потому что «в крестьянах видим явно готовящийся бунт, весьма похожий на пугачевский».

По императорскому указу послали в Архангельское генерала Репнина и пехотный батальон с двумя пушками.

Мужики при виде генерала с солдатами «повинились», и все обошлось без кровопролития — отделались повсеместной поркой.

Вологодский епископ, которому помещик пожаловался на своевольного дьячка Лаврентьева, перевел его с семьею в нищенский приход в Усть-Сысольск, к зырянам, куда Макар телят не гонял.

Вот о каких помещиках вспоминали, сидя в казарме, старый фельдфебель и молодой сержант. Свеча оплывала в медном шандале, в казарме храпели усталые, замуштрованные солдаты, и мерной поступью вышагивали дневальные.

*

* * *

Император был памятливым и всякий раз спрашивал командира Павловского полка об Иване.

— Как поживает мой сержант Иван Павлов?

На что генерал докладывал:

— Старается, государь, изрядный воин.

— Пусть старается, мы его не забудем.

На разводе, когда в нем участвовала пятая рота, Павел Петрович, обходя строй, выкликнул Ивана.

— Всем ли доволен, сержант?

— Покорно благодарим, ваше императорское величество!

— Претензий не имеешь?

— Никак нет, ваше императорское величество!

— А ну покажь, сударик, артикулы своего взвода.

— Слушаюсь!

И на плацу взвод Павлова не подвел своего сер-

жанта: ходил в атаку до того монолитно, до того жирно, вышагивал парадным маршем так слитно, что государь хлопал в ладоши.

— Молодцы, павловцы! Теперь экзертиции на кобыле.

И на кобыле солдаты экзертиции проделывали точно, словно шутя, брали высоты и после прыжка становились не на пятку, а на носок.

— Удружил, Иван Павлов, ей богу удружил!— Генералу приказал: — Представить сержанта на аттестацию военной коллегии на офицерский патент.

В казарме генерал не решился называть Ивана на «ты».

— Везет вам, сержант, вот что значит милость государя и к тому же примерное старанье.

Аттестацию сержантов проводили в канцелярии лейб-гвардии Преображенского императора Петра Великого полка. Экзаменаторами были три генерала: санкт-петербургский военный губернатор граф Пален, егермейстер граф Кутайсов и генерал-поручик барон Ламсдорф. Патенты выписывал полковник Васильев.

Экзамен держали пять сержантов из полков лейб-гвардии Павловского, Измайловского и Царскосельского гусарского. Канцелярия мрачная, большая, наводящая трепет на присутствующих. На длинном, покрытом зеленым сукном столе, — зеркало, символ присутствия самого императора, папки с делами представленных на аттестацию, чернильницы с остро отточенными гусиными перьями, серебряные шандалы с красными восковыми свечами. На стене в золоченой раме портрет Павла Первого.

Генералы сидели за столом в креслах, сбоку полковник Васильев перелистывал патенты, чтоб внести в них чин и фамилию фендрика (младшего офицера).

Для аттестуемого у стола — простой стул.

Перед экзаменом Кутайсов, бывший денщик и куафер Павла Петровича, предупредил графа Палена:

— Ваше сиятельство, государь изволит особо отличать сержанта Павлова.

— Не обидим сержанта, граф. — Пален достал золотую табакерку с вензелем императора, предложил: — Не угодно ли? Табак тертый, голландский, с фиалкой.

Генералы заложили в ноздри по понюшке голланд-

ского с фиалкой, вдохнули и враз громогласно чихнули.

— Прелестный табачок! — похвалил Кутайсов.

Барон Ламсдорф, аккуратный прибалтийский немец, пожелал генералам доброго здоровья.

Генералы утерли носы белоснежными платками, поблагодарили.

— А вы, барон, не желаете?

— Не занимаюсь: и денежкам перевод, и нос краснеет.

У Ламсдорфа нос был, как спелая вишня, и не от табачку, а от чрезмерного пристрастия к рижскому бальзаму.

Полковник Васильев взглянул на большие канцелярские часы.

— Пора начинать, господа генералы. Кого первого прикажете вызывать? — И снял с зеркала шелковое покрывало.

Кутайсов решил:

— Начнем с гусара.

Павел Петрович не жаловал царскосельских гусар, считал их любимчиками покойной матушки, баловнями, вольнодумцами.

Адъютант полковника Васильева, маленький мордастый прапорщик, стоявший у двери, приоткрыл ее и зычно:

— Сержант гусарского полка князь Белосельский!

Позванивая шпорами, держа в левой руке кивер и волоча по полу блестящую саблю, вошел черноволосый юноша в красном с желтыми шнурами мундире, с белым, отороченным мехом ментиком и остановился, на три шага не дойдя до стола.

— Князь Сергей сын Петров Белосельский прибыл по вашему приказу! — отрапортовал он.

— Садитесь, князь, — вежливо указал глазами на стул Пален (он был председателем).

— Ответьте, сударь, что есть субординация? — задал вопрос егермейстер Кутайсов.

— Субординация означает беспрекословное подчинение приказам и распоряжениям начальства. Нарушение сих правил суть преступление, караемое военным судом. Устав воинский должен быть исполняем всеми чинами от солдата до генерала, — отчеканил гусар.

— Перечислите, князь, — ласково попросил барон (он уважал родовитость) священных особ царствующего дома.

— Государь император Павел Петрович, его супруга государыня императрица Мария Федоровна, государь цесаревич Александр Павлович, его высочество великий князь Константин Павлович...

— Довольно, — перебил его Пален, — выйдите.

Генералы посовещались. Пален и барон были за присвоение Белосельскому чина корнета, а Кутайсов — лишь вице-корнета.

Пален все же настоял на чине корнета.

Вызвали Белосельского. Полковник заполнил патент, генералы подписали. Васильев приложил казенную печать с двуглавым орлом. Вручал патент Пален.

— Господин корнет, желаю вам верой и правдой служить его величеству и офицерское звание носить достойно с честью.

Корнет, ошарашенный патентом, горячо поблагодарил комиссию и, выйдя в коридор, где на скамье сидели сержанты, проговорил:

— Не смущайтесь, господа, комиссия ныне добрая, прошу вас ко мне завтра в воскресный день в Царское: ералаш устрою, друзья.

Сторожу-инвалиду, что проводил его на улицу, он дал полтину. Тот гаркнул:

— За что милуете, ваше благородие?..

Вторым вызвали Павлова.

Пален сесть не предложил, барон смотрел строго, сержант из рядовых — фигура не важная: не князь, не дворянин — пусть постоит, ноги не отнимутся. Кутайсов же был доброжелателен.

— Покажи, сударь, шаг-марш и артикулы.

Павлов отчеканил шаг. Механизм, а не человек. Кутайсов командовал повороты, перебежки... Генералы, люди военные, дивились, хвалили.

Барон умиленно:

— Такой сержант равен офицерам его величества короля Пруссии.

— При чем тут Пруссия? — улыбнулся Кутайсов.

Спрашивали воинский устав. Знал хорошо. Дали читать книгу — прочел с выражением. Продиктовали — писал грамотно, почерком щегольским. Выдали

патент офицерский с присвоением чина подпоручика за отличное знание службы.

— Не споткнется — далеко пойдет. — Пален поморщился. — А все же, по-моему, давать офицерство рядовому из крепостных... — и замолчал, понял, что попал впросак: граф Кутайсов тоже из денщиков, ту-рок крещеный... Покраснел. — Я имею в виду, конечно, господа, не всех. Перед нами, например, его сиятельство граф Кутайсов, верный слуга его величества, достойный наш собрат.

Кутайсов сделал вид, что удовлетворен извинением, а сам подумал: «Ну, погоди, граф, аристократ чухонский, погоди!»

Барон Ламсдорф не слушал генеральскую перепалку — был под впечатлением упражнений Ивана Павлова. Какой тут балет сравнится с тем, что показал здесь сейчас новоиспеченный подпоручик. Вот какого бы офицера ему в дивизию!

Подпоручику Павлову выдали деньги на обмундирование, месячное жалованье не в зачет, предоставили двухнедельный отпуск и прогоны на две почтовые лошади.

Всем произведенным в офицеры из податного сословия присваивалось личное дворянство. Когда же офицер дослуживался до майорского чина, он становился потомственным дворянином с правом получения из департамента герольдии герба и записи в родословные книги вместе с женой и детьми.

Иван Павлов теперь жил в комнате офицерских казарм и имел денщика Петра Савельева — старого солдата с двумя медалями, дослуживающего двадцатипятилетний горемычный срок.

— Ваше благородие, — вытянулся он перед Иваном, — не сумлевайтесь, я хоть и старая косточка, но услугу вам с полным усердием.

— Да что ж ты, дядя Петр, величаешь меня? При людях — куда ни шло, а так — зови Иваном Васильевичем, как царя Ивана Грозного, — пошутил Павлов и обнял Савельева.

Фельдфебель Авксентий Егорович навестил Ивана Павлова, и снова выпили по чарке хлебного, и пил с ними вместе дядька Петр Савельев.

— Намедни капрал Нестеров сказывал: осерчал государь на батальон гренадеров, не так, что ли, артикулы ружейные делали, — рассказывал фельдфебель. — Государь скомандовал: «В Сибирь — шагом марш!» — и повернулись офицеры и солдатики и двинулись походным маршем считать версты... К вечеру смилостивился Павел Петрович и послал адъютанта на коне, чтобы батальон обратный ход дал. Так они уже почти шестьдесят верст по Московскому тракту отмахали!

— Генерал Аракчеев в Новгороде одного егерька до смерти шпицрутенами заporол. До того озверел генерал, что егерек уже не дышит, а его все тянут сквозь строй! — сокрушался Савельев.

Ивану было тяжело слушать солдатские разговоры. Сам знал, каково терпеть под розгами, самого стегали на конюшне до потери сознания, и теперь на спине и ягодицах белые шрамы.

И решил Иван ехать на родину, предстать в офицерском звании перед барином и потребовать сатисфакции. Конечно, хотелось ему и старуху мать и Дуняшу повидать: как там они живут?

Генерал, командир полка, подписал нужные бумаги.

— Рад, подпоручик, вашей фортуны, отдохните на лоне природы. — И генерал пожал Ивану руку.

Не забыл Ивана Павлова и барон Ламсдорф. Уж очень ему приглянулся подпоручик. Съездил в Павловский полк к командиру.

— Не откажите в любезности, генерал, — сказал слащаво.

— В чем, барон?

— У меня в дивизии вакансия ротного командира. Не могу ли рассчитывать, что вы переведете на сию вакансию подпоручика Павлова? Я же вашу доброжелательность не забуду и всегда протекцию окажу. Вы полком командуете, а я через графа Кутайсова походатайствую, чтобы Вам в моей дивизии быть бригадным генералом.

Это было лестное и заманчивое предложение: бригада не полк — в бригаде два пехотных полка, артиллерийская батарея и кавалерийская часть.

Командир павловцев долго думал, дымя из чубука душистым табаком. Перевести Павлова можно — сие в

его власти. А коли узнает государь император? Разъярится, закричит: «Так-то вы лучших офицеров бережете — из моего полка в другой переводите!»

— С удовольствием бы, господин барон, исполнил ваше желание, но затрудняюсь — не заслужу ли гнев его величества?

— Не заслужите, генерал, уверяю вас, ведь сие произойдет с согласия государя через графа Кутайсова.

— Ну ежели так, то, сами понимаете, без промедления отпущу подпоручика. Всеконечно надежду имею, что заодно государь подпишет приказ о моем назначении бригадным в вашу, барон, дивизию.

На этом генералы и расстались со взаимным респектом и весьма довольные.

*
* *
*

Император Павел издал указ от 5 апреля 1797 года, в котором увещевал помещиков, держащих на барщине крестьян, проявить к ним отеческую заботу, не заставляя работать всю неделю, а три дня на себя, три дня на барина, в воскресенье же ходить в церковь и отдыхать.

Землевладельцы встретили царский указ насмешливо и зло.

— При Великой Екатерине такого безобразия не бывало, господин над крепостными властитель, сам знает, как надобно с мужиками обходиться. На то указ Петром Третьим о вольностях дворянских был дан.

Помещик Поздеев разъезжал по соседям и жаловался:

— Государь обездолить нас, верных слуг, похотел. Не подчинюсь ему.

Александр Межаков, рачительный и жестокий хозяин, насмеялся:

— Я сделаю по-своему: пусть мужичок шесть дней на меня трудится, шесть ночей на себя, а в воскресный день после обедни на барской усадьбе дров напилит — сие для него полезно.

Мужики горевали. Видать, правду деда сказывали: «До бога высоко, до царя далеко!»

Подневольный труд из-под палки на ненавистного

барина не только тяжел, но и не плодотворен. Ежели у Межакова урожаи были хороши, то это шло за счет удобрений с конского завода и скотного двора. У крестьянина же и земля была беднее и удобрений с одного коняги и замухренной буренки — кот наплакал, а зерно прорастает в ней иногда не хуже, чем на помещичьих угодьях: она, земля-матушка, — живая, чувствует всем нутром своим заботливые мужицкие руки, да и пропитана мужицким соленым потом. И хотя заставляли управляющие и надсмотрщики крепостных работать не разгибая спин, все равно у многих помещиков урожаи выходили низкие; это злило их, и вымещали они неудовольствие на мужичьих спинах.

У небогатого дворянина-одногодворца, отставного прапорщика Николая Назарова земли всего пятьдесят десятин, семья большая: сам хозяин, трое здоровых сыновей-подростков, двое взрослых дочерей, жена из поповского рода; скотины — четыре лошади, пять коров, да еще овцы, свиньи, куры и гуси.

Николай Назаров и его сыновья не стеснялись ходить запросто в домотканом. Выезжали на поле — на ногах ступни — и с помощью двух работников и пахали, и борошили, и лес корчевали — работали допоздна, не хуже мужиков, а по огороду и дому справлялись хозяйка,стряпуха и дочери.

Назаров водил дружбу с соседними казенными крестьянами, и когда бывало трудно справиться с хозяйством, устраивал «помочи». Крестьяне с охотой помогали, и Назаров устраивал для них обед и ужин: резали овцу, ставили ведро хлебного вина и бочонок пива.

По праздникам семья прихорашивалась. Николай Васильевич надевал коричневый сюртук и кожаные сапоги, сыновья по-купчески — суконные поддевки и красные рубахи, дочери и хозяйка — платья с буфами и козловые туфли.

Помещики глядели на Назаровых свысока, здоровались еле-еле, прикладывая пальцы к шляпе, но не снимая ее, а те только плечами пожимали: «Ну их к ляду, бар-то этих!» Урожай у Назаровых при их скудном владении высокий, зерно и льны отличные, продают выгодно; сливочное масло нежное и вкусное (от губернатора и прокурора за ним ездили); кони сытые,

лощенные. И сами хозяева — кровь с молоком. Дочери — бесприданницы, но такие хозяйки, такие рукодельницы, что старшую, Ольгу, просватал молодой губернский чиновник, что на виду у начальства. Младшая, Вера, ходила пока в невестах, хотя женихи из Вологды уже наведывались.

К этим однодворцам по пути в Никольское заехал с визитом гвардейский подпоручик, бывший крестьянский сын Иван Павлов. Несколько лет назад он к престольным праздникам из уважения причесывал девиц и хозяйку, и поэтому был встречен не только с большим уважением, но и радостным гостеприимством.

Николай Васильевич Назаров, обнимая Ивана, восклицал:

— Молодец ты, господин офицер, меня старика за пояс заткнул — в гвардии служишь! Чем же тебя угощать? Жена! Все, что есть в печи, на стол мечи.

За обедом, обильным и сытным, молчали. Назаров придерживался старомодных правил. Только слышалось односложное: «Попробуй поросенка, молочный, словно масло. Выкушай еще чарочку зверобоя, полезительное, лечебное».

После обеда в комнате хозяина разговорились.

— Не ведомо ли вам, Николай Васильевич, о моей матушке?

— Плетет кружева твоя старушка, не беспокойся. Славная мастерица, господа ею дорожат. Вологодские барыни ее кружева хвалят.

— О Дуняше что слыхать?

— Барышня ихняя Наталия Александровна из Петербурга прибыла. Горда и своенравна, прости меня господи. Ключница Анфиса Петровна у нас была — ездила за чаем и сахаром в город — да и посидела с женой и Верочкой часочек. Тиранит барышня Дунюто, за косы треплет. Жалко девку, заступиться за нее некому.

— Как бы ей помочь, Николай Васильевич, не присоветуете? У меня малая толика серебром есть.

— Об этом и моя Вера просила. Они с Дуняшей, когда той вольготнее жилось, подругами были. Сам, Ваня, знаешь, Дуняша сублильная, ласковая, к побоям непривычная.

— Я у него сатисфакции потребую, я — гвардии подпоручик, личный дворянин...

— Все справедливо, Ванюша, и гвардион ты, и в милости у генералов, а сатисфакции тебе не будет. Дуэли царем запрещены, это двух месяцев гауптвахты будет стоить, и разжалуют тебя в рядовые. И мыслить о сем не моги! Нам с тобой с вельможами не тягаться!

— В чем же вы, Николай Васильевич, видите спасение?

— В смирении, голубчик, в смирении. Не маши руками, вижу, не монашек, а что поделаешь? Явись к Межаковым с чистым лицом, веселым, забудь про обиду, скажи: на родину, мол, потянуло, мамашу повидать, про службу расскажи, а уж потом о Дуняше. А ты точно ее любишь?

Назаров внимательно из-под седых бровей взглянул на Павлова. Иван закрыл глаза, мысленно представил худенькую Дуняшу, ее тихий, робкий голос... Как тут отвечать? Четыре года прошло, как не видел ее. Да, была когда-то первая любовь, жалость к сиротливой девочке — полуробенку.. Редкие письма... Вот и все, пожалуй.

— Жалею я ее, Николай Васильевич, насчет же любви — не знаю, но для Дуняши готов, яко для сестры младшей, унизиться перед знатым барином. Мамашу бы да Дуняшу выкупил.

— Коли так, то ступай, господин подпоручик, в Никольское, благо твои почтовые заждались. Не подумай, не гоню, свою брочку бы дал, да опасаясь — неудобство выйдет, узнает Межаков, что ты гостил у Назарова, а меня господин Межаков не очень жалует. Езжай на казенных, а к нам — милости просим, за всегда рады приветить.

На крыльцо вышли хозяйка и Верочка, высокая черноволосая девица с ясными карими глазами.

— Приезжайте в гости, Иван Васильевич! Дуняше кланяйтесь, вызволите ее, бедняжку.

Ямщик взмахнул кнутом. Отдохнувшие лошади весело побежали по весенней дороге, бойко зазвенел колокольчик.

Александр Межаков в шелковом халате перед сном в кабинете читал присланные ему вологодским полицмейстером «Санкт-Петербургские ведомости». Грузный,

с двойным подбородком и большим мясистым носом, с пронзительными серыми глазами, он производил внушительное впечатление.

В дверь постучали. Камердинер Егор Ефимович, согнувшись, словно его сейчас палкой огреют по спине, остановился у порога.

— Что приключилось? Зачем беспокоишь?

— Ваша милость, из столицы Иван Павлов на казенных лошадях прибыл, сидит у своей родительницы.

— Ну и что? Подумаешь, солдат приехал! Документы проверил?

— Они не солдат, они их благородие.

— Какое благородие? Что ты, Егор Ефимыч, несурязицу плетешь?

— И не простое благородие, ваша милость, а гвардейское. «Доложи, — крик, — барину, что по разрешению начальства в отпуск лейб-гвардии Павловского полка подпоручик Иван Павлов».

— И что еще сказывал офицер? — удивился Межаков.

— «Доложи, что хочу иметь беседу с его милостью», то есть с вами, барин.

— Да, — почесал подбородок Межаков, — маху мы дали, наказали зря из-за жениной прихоти. Только подумать! Офицер первейшего, любимейшего государева полка! Кто знает, может, и до генерала дослужится, примеры тому есть!

— Вы же, батюшка, их наказывали, когда они дворовыми были, то не в зачет...

— Ты, Ефимыч, подпоручика устрой, где гости останавливаются, постель чистую с подушками дай, ужин накрой — ему у старушки тесно и неудобно, — а завтра я его приму с удовольствием.

— Слушаюсь, все деликатным манером устрой.

— Да вот еще что, — спохватился Межаков, — где Федька, кучер?

— В Данилов Ярославский господин управляющий на лошадях отправил отвезти ихнего сына погостить к тетушке. Там у них усадебка махонькая.

— Отлично. Значит, не будет глаза мозолить офицеру.

Ложась спать, Межаков долго беседовал с женой, та удивлялась, выпрашивала:

— Ой, господи! Куафер — и вдруг столичный офицер... Ты, Александр, непременно его к фриштыку пригласи, любопытно очень.

— Все, матушка, из-за твоих капризов.

— Успокойся, милый, не было бы сего — и Жан по-прежнему бы дворовым служил, у меня даже мысль была поженить Жана и Дуняшку.

— Купил бы офицер Дуняшку... Я продал бы! Мне кучер Федька надоел, просит Дуняшку замуж, а та кричит: «Удавлюсь!» Повесится — убытку рублей на сто серебром!

— Страсти испанские! — Барыня зевнула.

— Покойной ночи, мой друг.

— Спи спокойно, мой ангел.

Межаков задул свечу.

*

* * *

Барышня Наталия Александровна после окончания Смольного сучала в Никольском.

Дом — что дворец, комнат много, парк тенистый. В оранжерее цветы диковинные, южные плоды. У папеньки библиотека занятая... А все не по нраву. Соседки кажутся дурочками, балы в дворянском собрании убогими. Нет, это не Петербург! И, вымещая свою скуку, Наталия Александровна издевалась над горничной Дуняшей. Никак бедняжка не могла угодить привередливой барышне. Чуть что не так — по щекам. Или хлыстом, с которым на лошади амазонкой ездил, так отлупит, что у Дуняши слезы градом. А барышня еще досадует: «Противная, выводишь меня из терпения!»

Наталия Александровна сухопара, узкоплеча, нос папенькин, глаза большие, серые, глядит на окружающих свысока: «Не понимаете мою возвышенную душу!» А чего тут понимать? Одно у барышни желание — замуж выйти, не остаться старой девой; ах, как это неприятно — старая дева! А ей ведь уже двадцать один год; все ее подруги замужем!

— Дунька! — зовет она и, рассматривая миловидное похудевшее лицо горничной, приказывает: — Рассказывай, что на селе делается.

— Ничего, барышня, все по-прежнему, а сплеток я не слушаю.

— А ты, дура, соври что-нибудь, видишь — ску-чаю!

— И врать не могу, барышня, не таковская.

Так повторялось почти каждое утро. Но на этот раз Дуняша была взволнована. Румянец на щеках, а руки, надевавшие на барышнины ножки чулки, дрожали.

— Барышня, Иван Васильевич приехали из Петербурга.

— Какой Иван Васильевич?

— Помните Жана — куафера, которого в солдаты ваш папаша сдал?

— Помню, и что с ним?

— Лейб-гвардии офицером Жан сделался. На неделю сюда прибыл, не узнаете его, барышня, красавец в мундире.

— Ты-то чего, дурища, взыгралась? — Барышня ловко носком туфли ударила под подбородок склонившуюся Дуняшу.

Та промолчала.

Наталия Александровна дольше чем обычно просидела у трельяжа. Она в Смольном наслышалась о превратностях судеб придворных: сегодня ничтожество, а завтра князь. При матушке Екатерине и императоре Павле это никого не удивляло.

Лакей Петр пригласил барышню на фриштык в малую столовую. Там, держась руками за спинки стульев, уже стояли отец и мужественный молодой офицер в щегольском мундире, белоснежном жабо, чисто выбритый, в буклях по форме, золоченые пуговицы сверкали.

Отдавая ришпект, офицер по-гвардейски щелкнул каблуками.

— Представляю тебе, Иван Васильевич, дочку Натали. Ты ее девочкой помнишь?

— Помню, сударь, я им косу убирал, а они серчали: «Жан, поскорей, надоело!»

Вошла барыня, сели за стол. Лакеи бесшумно вносили на серебряных блюдах кушанья. Телячьи котлеты с оранжерейной спаржей, нельму под сметанным соусом, белозерского судака по-польски, суфле с бисквитами и, конечно, разнообразные вина и наливки.

Желая сконфузить офицера, Наталия Александровна спросила:

— Какие поэтические пьесы привлекают вас, Жан?

— Служба воинская отнимает много времени, сударыня. Из поэзии предпочитаю славные вирши Гавриила Романовича Державина и басни господина Дмитриева, они суть забавны и поучительны.

«Здорово его там обтесали за четыре года!» — подумал Межаков. — Хоть за царский стол сажай, не осрамится».

После фриштыка Иван вежливо попросил барина уделить ему для частного разговора полчаса.

— Что ж, подпоручик, пошли в кабинет, а ты, Ефимыч, пришли нам по чашке кофия...

Иван еще накануне вечером после встречи с матушкой (сколь обрадовалась старушка, даже сказать нельзя) зашел в гости к господскому старшему конторщику, крестному Дмитрию Вострякову. Крестный когда-то обучил мальчика и счету и письму, он держал книги церковно-славянской и гражданской печати и слыл в Никольском ученым человеком. В барской конторе его уважали и к праздникам представляли к денежным наградам. Жил Востряков в отдельной избе, убранной по-городскому. Сын его Петр давно уже выкупился на волю и служил по откупам в Кадникове.

Крестный послал дочку Сонечку за Дуняшей, и та, закутавшись в платок, чтоб не заметили, дрожащая, пришла к Востряковым.

На Ивана смотрела, как на божество.

— До чего же вы, Иван Васильевич, пригожи. Привелось-то вас увидеть в таком почете. — И на вопрос Ивана: «Хочешь ли, Дуняша, я тебя выкуплю на волю?» — ответила понуро: — Да где ж у вас, голубчик, такие деньги? Я и так счастлива, что на вас поглядела.

— Не горюй, Дуняша, попытаюсь с барином поговорить, — сказал Иван. — Если бог поможет, будете и ты и матушка свободны.

— Вы бы, Иван Васильевич, матушку выкупили.

— За матушку барин дорого спросит, — вставил свое слово крестный. — Ее кружева в городе высоко ценят. Елена Прокофьевна всякое умеет: и заграничное, и наше местное. А за тебя деньги, авось, не большие спросят.

Дуня посмотрела в глаза офицеру.

— Нет уж, Иван Васильевич, предоставьте меня моей горькой судьбине.

— Погибнешь ты тут, Дуняша, — голос поручика задрожал. — Смотри, как исхудала, в какой затрапезе ходишь! А ведь ты грамотная, по-французски разговаривала! Ну иди пока.

... — Я слушаю, подпоручик. — Помещик, удобно развалясь в кресле, медленно прихлебывал кофе из фарфоровой чашечки. — Чем могу тебе одолжить?

— Уступите, сударь, Дуняшу, — тихо произнес Иван.

— Желаете приобрести мою крепостную?

— Так точно, сударь. Не приобрести, а просить, чтобы вы написали ей вольную.

— Ну-с, а деньги, милейший, есть?

— Имеются, сударь. Сколько за нее?

— Сто рублей серебром, — сказал веско. — Грамотная, обхождение знает, вышивает.

Облегченно вздохнул Павлов. У него как раз с жалованьем было в портфеле сто двадцать рублей серебром. Ему желалось выкупить и матушку, пусть поживет старушка вольной, а деньгами помогут в Петербурге сослуживцы, возьмет у казначея под долговую расписку.

— Ваша милость, сколько возьмете за мою матушку?

— Не обессудь, Иван Васильевич, — Межаков приятно сощурился, — никак не могу, понимаю твое сыновнее чувство, но не могу: твоя старушка великолепная плетет, волшебница, — супруга и дочка меня б со света сжили. Да ей неплохо у нас в Никольском, тепло, сам понимаешь, ей руки застудить нельзя; месячиной не обижаю. Что касаето Дуняшки, велю в конторе бумагу составить. Коль ты такой добродетельный, не для забавы берешь, а на волю отпускаешь, я не сто, а только восемьдесят серебром за нее возьму.

Межаков позвонил в колокольчик и вошедшему слуге приказал:

— Вина принеси, два бокала, фруктов...

Когда Наталья Александровна узнала, что Дуняша теперь вольная, то рассердилась.

— Зачем девку отпустили? Она умелая камеристка.— Подошла к отцу, обняла за шею.— Ты, папа, эти деньги мне отдай, я наряды из Петербурга выпишу, а в горничные Катьку возьму, обучу ее. Я это делать умею.

*
* *
*

Европа волновалась. Летели короны с августейших голов. Победоносно вздымались французские орлы на трехцветных республиканских знаменах. Великая буржуазная революция, пройдя по развалинам монархических режимов, породила человека, положившего конец революционным устремлениям.

Армия генерала Наполеона Бонапарта, первого консула республики, возглавляемая молодыми талантливыми полководцами, выходцами из крестьянских и городских низов, наносила сокрушительные удары войскам чванливых родовитых генералов, герцогов и августейшего императора.

В Италии, в Африке, у египетских пирамид и сфинксов стояли когорты корсиканского завоевателя.

Гордый Альбион — Британия, владычица морей, терпела унижительные поражения на море: французский флот топил английские корветы и фрегаты, крейсируя у побережья владений его величества короля Англии и императора Индии. Но вскоре в Англии появился великий флотоводец, нанесший контрудар французам, — адмирал Нельсон.

Европейские монархи с надеждой взирали на Михайловский замок, где жил курносый российский самодержец, принявший по просьбе Мальтийского ордена рыцарское звание магистра.

Австрийский император униженно умолял Павла Петровича спасти Италию, захваченную Бонапартом, просил слезно, чтобы союзную австро-русскую армию возглавил старый фельдмаршал, живший в ссылке в селе Кончанском Новгородской губернии, — Александр Васильевич Суворов.

Английский посол в Петербурге неоднократно посещал канцлера Безбородко с посланиями сэра Питта, сулившего России золотые горы, если она направит в Италию Суворова.

Император Павел не любил и не понимал Суворо-

ва, который не жаловал субординацию. Павел считал, что солдат не должен мыслить, а офицер умничать. Для генералов-павловцев солдат являлся лишь механизмом, артикулом предусмотренным, а Суворов считал, что каждый солдат должен понимать свой маневр. Император и фельдмаршал были личности несовместимые. Суворов зло смеялся над пудренными буклями и кургузыми павловскими мундирами, над пристрастием к немецким строевым порядкам. Он предпочитал удобную екатерининскую форму и частенько в Кончанском говаривал: «Букли не порох, коса не тесак, а я не немец, а природный русак».

Читая о победах Бонапарта в «Ведомостях», Суворов восклицал: «Далеко шагает, широко шагает мальчик, пора бы его унять».

Обо всем этом через соглядатаев знали в Петербурге. «Чудит старик», — смеялись придворные генералы.

Бонапарт действительно шагал широко. И как только его не называли: «тиран французский», «бич королей», «антихрист», «корсиканское чудовище»...

В России запретили произносить слова «гражданин» и «патриот». Это напоминало республику. Велели именоваться: «обыватель» и «верноподданный».

Александр Николаевич Радищев, приговоренный Екатериной Второй за «Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву» к сибирской каторге и возвращенный Павлом в Россию в свою деревушку, возмущался:

— Истинно! Захочет бог наказать — лишит разума! В кои времена диоклетиановы живем!

Наконец Павел, которому желалось прослать рыцарем, покончившим с «корсиканским чудовищем», приказал выделить часть войск для соединения с австрийцами и похода в Италию.

Суворова вызвали в Петербург в Михайловский замок.

Александр Васильевич не замедлил и спешно предстал перед лицом императора.

— Граф Суворов Рымникский! — просипел император торжественно. — Поручаю вашему водительству армию как Главнокомандующему и верю в вашу испытанную мудрость и храбрость. — Протянул свою руку, и фельдмаршал почтительно поднес ее к губам. Ему не хотелось злить Павла.

— Государь, не уроню русской чести.

— Прислушайтесь, граф, к советам австрийских генералов.

— По силе возможности, ваше величество, но дурацких советов терпеть не намерен, на свой разум надеюсь.

Павел взглянул на сухонькую фигурку фельдмаршала, на его решительное лицо и вздернутый седой хохолок и махнул рукой.

— Воюй, как знаешь, только побеждай.

Перед отъездом в действующую армию к Суворову на петербургскую квартиру зашел его племянник, молодой офицер, и увидел удивительную картину: посреди зала расставлены стулья и фельдмаршал легко перепрыгивает через них.

— Что вы дядюшка! В ваши годы разве сие возможно?

— Возможно, мой друг, возможно, помилуй бог, учусь через горы альпийские перепрыгивать!

Так начинался беспримерный в военной мировой истории суворовский поход.

*
* * *

Елена Прокофьевна Павлова, кружевница, мать офицера и крепостная господ Межаковых, хотя и называли ее старушкой, именно старушкой, ласково, уважительно, была еще в полной силе — ей исполнилось шестьдесят, выглядела она бойкой, проворной и работала кружева споро, красиво. И какие, боже ты мой, были эти кружева: невесомые, растительного узора — вологодские! Плела Елена Прокофьевна и заморские: барыня дала на погляд фламандские — мастерица пригляделась к ним, свела на бумагу сколок и выплела. Взглянули господа и ахнули: тоньше и, главное, живее, чем фламандские получились!

Презентовали Межаковы несколько кружевных манжет и отделок на парадные платья губернаторше, та в них в Петербург поехала и, будучи на балу в доме князей Васильчиковых, удостоилась одобрения ее высочества цесаревны Елизаветы Алексеевны: «Что за прелестные на вас кружева, генеральша, они очаровательны!» И после все дамы, окружив губерна-

торшу, выспрашивали: «Где купили, наверное, из-за границы выписали? Нельзя ли прибегнуть к вашей помощи?»

Вологодский губернатор предлагал Межаковым большие деньги за кружевницу. Те вежливо отказали, пообещав, что будут посылать губернаторше кружева мастерицы.

По всей губернии дворяне знали: есть в Никольском непревзойденная кружевница. Конечно, плели кружева сотни женских рук и в городе, и в барских мастерских, и в деревнях, может, и не хуже, чем Елена Прокофьевна, но молва высшего света называла лучшими изделия из Никольского, ибо супруга наследника престола цесаревна Елизавета Алексеевна изволила их лестно отметить.

Господа велели управляющему не отказывать мастерице в дровах и чтобы они были разделаны, как для барских печей. В праздники ей посылались с господского стола лакомства.

— Не удалось, матушка, тебя выкупить,— сказал Иван,— я бы тебя к себе взял в Петербург.

— И-и, сынок,— с доброй улыбкой отвечала Елена Прокофьевна,— не горюй, дитяtko, я-то, слава богу, мытарством не обижена, живу без нужды. Баре мною довольны, ишь как расфуфырились от царевниной похвалы. А коли буду им не нужна, и дровишек лишат, и сладким куском не попотчуют, тогда и выкупай: не сотни, а десятки рублевиков возьмут. Може, к тому времени, годков через семь-восемь, майором с достатком будешь. Что Дуняшу вольной сделал — божье благословенье с тобой пребудет. Девка славная. Сватать собираешься?

— Нет, маменька, я к ней как к сестре младшей...

— Куда же Дуняше идти опосля Никольского? Сиротинка! Пить-есть надо, одежонку справить след. Думал об этом, сынок? Я, конечно, помогу, сохранила кое-какую рухлядь, и туфли козловые дам, сама-то к катаникам привыкла.

— Я, маменька, отправлю Дуняшу к Назаровым — однодворцам, пригреют на время.

— Тебе виднее, Ванюша, живую православную душу взял на попеченье, с тебя и спрос.

Дуняша пока не получила бумагу, прислуживала барышне, только теперь та, хотя и глядела на девушку

свысока, но пинками и пощечинами не награждала. Семнадцатилетней Кате, которая должна была ее сменить и страсть до чего боялась Наталии Александровны, Дуняша утешающе советовала:

— Ты, девка, с барышней не спорь, не перечь ей, авось обойдется; в посудницах-то тоже не сласть, те же толчки да пинки от повара, все же с одной барышней полегче.

Через три дня вызвали Дуняшу в контору к управляющему. Были там Иван Павлов и старший конторщик Дмитрий Востряков.

Управляющий сказал:

— Примите, господин подпоручик, сию бумагу на вольную крепостной крестьянке господ Межаковых Евдокии Григорьевой из усадьбы Никольское Кадниковского уезда Вологодской губернии.

На гербовой бумаге четким канцелярским почерком Вострякова все сказанное управляющим подтверждалось. Вольная была скреплена печатью Межакова и его подписью. Управляющий подал бумагу офицеру, тот вложил ее в руки Дуняши.

Ощувив пальцами плотность казенной бумаги, девушка поняла, что отныне она свободный человек, что никакая барыня не сможет поставить ее на колени и отхлестать по щекам. Это было сладостное чувство раскрепощения, незабываемый миг ее короткой подневольной жизни, и она, обливаясь радостными слезами, схватила руку Ивана Павлова и горячо ее поцеловала.

— Ты что, сдурела? — покраснел офицер. — Что я — поп?

— От благодарности, голубчик Иван Васильевич, вековечная ваша должница. Дай вам царица небесная здравия!

— Хватит, хватит, — подпоручик, скрывая волнение, обнял ее за плечи. — Ступай к маменьке Елене Прокофьевне.

Кружевница испекла пироги и одетая в чистый сарафан встретила Дуню хлебом и солью. Потом пришли Востряков и Иван, принесли штоф вина и кусок жареной баранины. Востряков подарил Дуне десять аршин тонкой холстины.

Посидели. Поздравили. Иван посоветовал Дуняше

съездить к Назаровым, сказал, что туда приедет денюжка через два, проездом в Петербург.

Ночью ему не спалось, думал о том, где устроить девушку. Правду сказала матушка: он, Иван, за нее ответчик.

Ранним утром, расцеловавшись с Еленой Прокофьевной и крестным, Иван Павлов на казенных лошадях выехал из Никольского. На часок остановился у Назаровых. Встретили радушно. Верочка прибежала с Дуняшей. Не узнать было девушку: веселая, раскрасневшаяся, в новом сарафане и белой полотняной вышитой рубашке, она радостно приветствовала Ивана. Видно, ей хотелось броситься ему на шею, но сдержалась и, как Верочка, сделала книксен!

Назаров провел Ивана в дом, наскоро соорудили завтрак, выпили посорок, и хозяин сказал:

— Я, Иван Васильевич, позавчера в Вологде был и пристроил Дуняшу.

— Куда пристроили? — встревожился подпоручик.

— Не беспокойся, сударь. На Екатерининской у самой, почитай, церкви проживает старушка Мария Даниловна Пашкова, вдова надворного советника; дочка у нее давно померла. Живет Пашкова с кухаркою, и дворник у нее, татарин. Берет она Дуняшу для подсобы по хозяйству. Скучно старушке, ей нужно и поговорить, и чтобы девица почитала ей божественную книгу, и в церковь сопровождала. Я Марью Даниловну лет десять знаю. Кое-что из деревни привожу, останавливаюсь у нее, когда в губернии бываю.

— Ну что ж, — после раздумья сказал Иван, — благодарствую. Не забуду вашей услуги. А как Дуняшу в городе держать? Как прописать? Вы уж помогите.

— И об этом я скумекал! — Старик хитро подмигнул Ивану. — Ежели у тебя есть два целковых, оставь: буду отвозить Дуняшу в губернию, зайду в контору, уплачу сбор и припишу девицу Евдокию Григорьеву к сословию вологодских мещан.

— Я, Иван Васильевич, согласна у чиновницы в городе жить, — сказала и Дуняша. — Мне чем дальше от господ Межаковых, тем спокойнее, а в городе меня проведуют и Верочка и сам хозяин.

— Не беспокойся, Дуняша. И я и папаша зимой часто будем в губернию наезжать.

— Вестимое дело, — подытожил старик.

Дуняше взгрустнулось, когда Иван Павлов садился в бричку. Заплакала, перекрестила офицера, и он, смущаясь, пожал ей руку:

— Ты, Дуняша, не забывай меня, пиши в Петербург по адресу: «Казармы лейб-гвардии Павловского полка. Полковая канцелярия. Его благородию подпоручику Павлову Ивану Васильевичу».

*
* * *

Дивизионный генерал Ламсдорф вызвал к себе командира Павловского полка.

— Генерал, — самодовольно проговорил, — поздравляю с монаршей милостью. Назначены в мою дивизию командиром первой бригады. А ваш офицер Иван Павлов с чином поручика причислен к лейб-егерскому полку.

— Благодарю, ваше превосходительство! — расшаркался павловец. — С превеликим удовольствием послуужу государю и вам. — Но как сие вам удалось?

— Через любезнейшего графа Кутайсова. Стоило мне производство золотого перстня со смарагдом*.

— Не объясните ли, барон, отчего государь согласился на перевод Ивана Павлова в егеря?

— Граф Кутайсов доложил его величеству, что перевод на пользу службы: оный офицер, преданный государю и заслуживший его царское внимание, сумеет и у егерей так поставить строевое учение, что оно окажется не хуже, чем в павловском полку. Государь изволил приказать вывести перед ним через три месяца роту Павлова.

Когда подпоручик прибыл в канцелярию и отпрапортовал дежурному по полку майору о своей явке, тот поздравил его с царской милостью.

— Вам, господин поручик, надлежит немедля явиться к его превосходительству барону Ламсдорфу, в дивизии коего будете проходить службу в лейб-егерском полку.

* Изумрудом.

Иван Павлов несколько был озадачен: за четыре года привык к павловцам, к офицерам, фельдфебелю, солдатам: жалел он и своего денщика: куда пойдет старик?..

Барон встретил Ивана сердечно.

— Рад, рад, поручик. Примите вторую роту, там следует потрудиться. Ротный капитан Федоровский солдат лупцевал почем зря, и шпицрутенами наказывал, и с полной выкладкой на часы ставил — не помогало. Надеюсь на вас.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

— Государь велел через три месяца вашу роту вывести на плац. Его величество на сей смотр сам пожалует.

— Постараюсь, ваше превосходительство. У меня покорнейшая просьбишка. Привык к денщику, нельзя ли его также перевести в егеря? Фамилия ему Савельев.

— Денщик молодой?

— Никак нет, старик дослуживает срок.

— Ежели старик, можете рассчитывать.

— Покорнейше благодарю, ваше превосходительство!

— Как в деревне отдохнули, поручик?

— Хорошо, господин барон. Повидал матушку, родные места, погода благоприятствовала.

— Ну-ну. Три дня вам на устройство. Квартира в офицерских казармах... Как у вас с презренным металлом, поручик?

— Малость есть.

— Малость, это плохо, поручик. Я велю егерскому полковнику Измestьеву из полковой кассы выделить вам на расходы по переезду тридцать серебром и пятьдесят на новую форму.

— Благодарю, ваше превосходительство!

— За вашу усердную службу. Ну-с, не задерживаю, всего доброго!

Павлов по артикулу отдал ришпект, повернулся на каблуках и, печатая шаг, вышел из кабинета.

И опять барон почувствовал в своем генеральском сердце расположение к Павлову. До чего ж уставно повернулся! Какой офицер! Далеко пойдет!

Иван Павлов шел по весенним петербургским улицам. На Невской першпективе сугубое движение: каре-

ты, коляски, одноколки с фельдъегерями. На панелях много публики, даже цивильные чиновники стараются держаться на военный лад, а уж об офицерах нечего и говорить — словно аршин проглотили. Дамы, и те не нарушают официальный порядок — держатся строго, и ежели сделают глазки молодому поручику или корнету, то скромно, чтоб другие не заметили. Не екатерининское время — павловское: субординация, благочиние, ранжир.

Марья Даниловна Пашкова, по мужу — потомственная дворянка, а по происхождению — поповна, низенькая, полная, медлительная, с добродушным лицом, обрадовалась Дуняше.

— Теперь мне веселее будет, — говорила нараспев, целуя девушку. — У нас в доме все старые: мои года — седьмой десяток на исходе, Акуле шестьдесят пять, и Абдуле тоже годков немало, а ты девица маков цвет. Спасибочки Николаю Васильевичу, что такую кралю ко мне определил.

Дом надворной советницы, с шестью окнами полукружьями с затейливыми наличниками, фасадом выходил на Екатерининскую улицу. За домом — сад с березками, рябинками и малиновыми кустами; колодец с ключевой водой, огород с грядками капусты, моркови, картофеля и репы; конюшня, где стояли мерин Сысой, сани и бричка; флигелек дворника Абдулы, степенного трудолюбивого татарина. Вот каковы были владения Пашковой. По двору бегал рыжий пес Полкан, а на солнышке грелся откормленный черный кот Кузьма. В доме пять комнат с изразцовыми кафелями: зала, спальня, бывший кабинет мужа, гостевая и комнатка у кухни для Акулины. Мебель старинная, дубовая, крепкая. В зале клавикорды, на них играла когда-то дочка Марьи Даниловны. В книжном шкафу в кабинете — библия, жития святых, сочинение господина Заецкого «Исторические и топографические известия по древности о России и частно о городе Вологде и его уезде», месяцеслов, толстый том о деяниях приснопамятного благоверного великого государя императора всероссийского Петра Первого и невесть как попавшие сюда книги на французском языке — трагедии Расина, «Дух законов» Монтескье и священная история Нового завета с гравюрами.

Дуняша вскорости свыклась с вологодской жизнью. Она чувствовала себя свободной. Относились к ней ласково. Акуля всегда припасала барышне (как ее теперь называли по желанию Пашковой) то сладкий пирожок, то ножку цыпленка. Девушка старалась быть полезной в доме, создать в нем недостающий уют. Она вышивала на пальцах, и ее вышивки, брошенные на мебель, омолодили зал. Она собирала полевые цветы, ставила их в кувшины на подоконники, и, казалось, кружевные занавески на окнах начинали излучать тепло.

Иногда по просьбе Марьи Даниловны играла на клавикордах; она вспоминала те сентиментальные пьески, которым обучила ее добрая гувернантка-француженка в усадьбе Межаковых. Клавикорды давно не настраивались, дребезжали, издавая такие жалобные звуки, что рыжий Полкан во дворе начинал подвывать, а черный кот Кузьма строго тарачил свои желто-зеленые глаза на Дуняшу.

Дуня по слуху подобрала развеселую русскую деревенскую песню. Задорные звуки музыки пленили Абдулу. Стоя на дворе у раскрытого окна, татарин перебирал ногами и цокал языком: «Ай барышня, как гурия в саду Аллаха!»

Дуня сделалась необходимой в доме. Закупала продукты, ездила на бричке на базар, убирала в комнатах, читала Марье Даниловне «Жития святых», провожала ее в церковь. И когда советницу спрашивали: «Что за милая девица с вами?» — та отвечала: «Моя воспитанница, Евдокия Григорьевна».

Но, когда Дуня захотела выстирать белье, то ей запретили. Акуля запрочитала:

— Да разве у меня рук нету? Разе я плохо стираю? Разе, барышня, это твое дело?

Теперь у девушки была своя комната, бывшая гостевая, прилично убранная. По ночам Дуня с благодарностью думала об Иване Павлове: спас он ее от рабства, дай ему, господи, счастья.

Летом пришла от него эстафета из лагерей, где он сообщал новый адрес. Дуня неделю носила письмо за корсетом и выучила его наизусть.

«Любезная Евдокия Григорьевна, в первых строках сей эстафеты посылаю вам и вашей благодетельнице сударыне Марье Даниловне нижайший привет и льщусь надеждой, что вы пребываете в добром здравии

и благополучии. Я, ваш всепокорный слуга, ныне произведен в чин поручика и назначен командиром роты лейб-егерского полка. Опишите свое пребывание в городе Вологде. А за сим остаюсь преданным Иваном Павловым».

Марья Даниловна, польщенная приветом, хвалила поручика: видать, добросердечный и обходительный кавалер.

— Ты, Дуняша, ему от меня кланяйся.

У Марьи Даниловны на прожитье шла из казначейства вдовья пенсия. В городе был первый в России государственный банк, где хранился небольшой, но вполне достаточный капитал, с которого она получала проценты. Под постелью у вдовы стоял железный сундучок; в нем золотые вещи надворного советника: табакерка, запонки, ордена и ее колечки и брошки.

В общем на жизнь хватало.

И еще Марья Даниловна сделала доброе дело. Вызвала к себе приходского священника и квартального надзирателя и попросила их оформить завещание, по которому дом и капитал после ее кончины переходили к ее воспитаннице — девице Евдокии Григорьевне.

Об этом по секрету Марья Даниловна поведала Назарову и вместе с ним съездила в контору губернского предводителя дворянства, где заверила у секретаря завещание казенной печатью. Подлинник положила в сундучок, а копию, тоже заверенную, отдала на хранение Назарову...

В лагерях под Петербургом Иван Павлов с утра до вечера муштровал своих егерей. Замордованную прежним командиром роту через месяц трудно было узнать. Солдаты при новом ротном приободрились. Павлов, воспитанный старым суворовцем капитаном Епифановым, и здесь следовал суворовским заветам, чему учил и своих двух офицеров, фельдфебеля, сержантов и капитанов. Заботился, чтобы солдаты хорошо питались, отменил зверские наказания, требовал от солдат не рабской дисциплины, а понимания воинских упражнений. Батальонный командир — майор Яков Ржаницын косо смотрел на нововведения поручика, ворчал: «Распустите, господин поручик, солдат, с ними нужна строгость и палка, да-с!» Но, когда увидел, что рота приоб-

ретает воинский вид, что солдаты держат строй и молодцевато идут на приступ построенных земляных и деревянных крепостей, решил не препятствовать поручику и однажды дружески молвил: «Командир вы достойный, на остальное закрываю глаза».

К осени рота Павлова считалась первой в полку.

Денщик Савельев, переведенный в егерский полк, заботился, как нянька, о поручике.

— Иван Васильевич, — докладывал он Павлову, — очень на вас обижаются другие ротные командиры: выслуживается, мол, поручик, портит нам амбицию. Денщик батальонного слыхивал, как майор ругал ротного капитана Гурьева: «Пример берите с поручика Павлова: у него солдат — любо-дорого, а у вас — не дай бог!»

И все же не только батальон Ржаницына, но и остальные подтягивались; солдат стали и кормить лучше; и хотя еще лупцевали за провинности рядовых, но не с прежней жестокостью, а по выбору, — так что к концу лагерных учений лейб-егерский полк Изматьева выглядел лучшим в дивизии Ламсдорфа.

Полковник Изматьев поощрял своего офицера, разрешал внеочередные отпуска в Петербург, где Павлов в книжной лавке покупал старые журналы и читал их у себя в палатке. С офицерами своей роты Иван держался запросто, замечания по службе делал не обидно, а вежливо, не то что прежний командир, приглашал их к себе на чай и беседовал о прочитанном. Часто обсуждали военные дела в Италии: там Суворов одерживал блестящие победы, а на море адмирал Ушаков приводил в трепет командиров вражеских кораблей.

Осенью в Петербурге на Марсовом поле лейб-егерский полк представился государю. Павел Петрович был смутен, рассеян: его возмущал австрийский император, для которого суворовские войска таскали горячие каштаны из жаровни. Стоило Суворову изгнать французов из ряда итальянских герцогств и австрийских владений, как австрийцы занимали эти места, творили суд и расправу над народом, но не пополняли армию Суворова. Чем больше становилась освобожденная территория, тем меньше австрийских полков оставалось у Суворова. Ухудшалось снабжение, а британский король только обещал крупные денежные суммы

и иные блага. И все это было, по мнению Павла, издевательством над Россией.

— Шельмы, торгаши, купчишки! — аттестовал он союзников.

Однако государь одобрил экзертиции егерей, велел позвать Павлова к стремени своего снежно-белого коня.

— Молодец, поручик, твоя рота примерная!

— Рад стараться, ваше императорское величество!

— Почему такое, сударики? — загундосил вдруг Павел. — Почему, полковник, у тебя нарушение чиновпочитания и регламента?

Полковник Измestьев побледнел.

— Как прикажете понимать, ваше величество?

— Ответь мне, Измestьев, ротному кой чин по уставу положен?

— Капитана, ваше величество.

— А поручики чем командуют? Соблаговолите сообщить, барон Ламсдорф? — Он повернулся к сидевшему на рыжей английской кобыле дивизионному генералу.

— По уставу поручик командует полуротой. На поле боя, ежели из строя выведен или убит ротный командир, его заменяет по старшинству поручик.

— То-то! — успокоился Павел. — Устав знаете, барон. Поелику поручик Иван Павлов командует ротой, как с ним надлежит поступать?

— Перевести в полуроту, — оторопело ответил генерал.

— Сударь! — вскипел государь. — Мозги вашего превосходительства надлежит проветрить, да-с — проветрить!

— Ошибся, ваше величество! — Ламсдорф приложил руку к треуголке. — Поручика Павлова надлежит представить к чину капитана.

— Наконец-то догадались, сударь! Благодарствую... Полком доволен. Вами, генерал, и Измestьевым — тоже. На капитана Павлова представить аттестацию. Вольно!

Император пришпорил коня и отъехал от генерала.

...Осень. Серое мглистое небо. Мелкий дождь. Марсово поле. Солдатские шеренги. Абрис сурового Михайловского замка с царским штандартом на флагштоке. Тысяча семьсот девяносто девятый год.

Кучер Федька явился в Никольское после отъезда Павлова. Встретив его у конюшни, скотница Ненила, рябая вековуша, заойкала:

— Ой, Феденька, светик, Ванька-то куафер офицером заделался! Серебра у него несчетно. Не матушку Елену Прокофьевну, а девку Дуняшку на волю выкупил! Ой, Феденька, уехала твоя зазнобушка и с нами, гордячка, не попрощалась!

Федька остолбенел, скрипнул зубами.

— Врешь, быть того не может!

— Ой, Феденька, чисто правда! Спроси хучь у конторщика Митрия Вострякова. Восемьдесят, вишь ты, рублевиков серебром за нее Ванька-офицер управляющему выложил.

Федька постоял у конюшни с полчаса, а затем, еле волоча ноги в тяжелых сапогах, поплелся к барскому дому.

Федора невзлюбили крепостные: силач и верный барский холоп, он исполнял не только обязанности кучера, но и палача. Другие конюхи и кучера удивлялись, откуда такая злость у человека берется. Если им приходилось наказывать мужиков, то делали они это по принуждению, неохотно, пороли жалеючи, Федор же — с удовольствием. Он бил с оттяжкой, медленно, чтобы продлить наказание; розги держал в кадке с соленой водою.

— Я тебя, — говорил он мужику, — миловать не буду, я — холоп господский, а могу я на твоём заду аль на спине след оставить, чтобы ты до старости помнил. — И он в кровь сек мужицкие телеса.

Но у этого зверя была одна страсть — Дуняша. И то, что она не похожа на других баб, — училась у француженки, — и ее длинная коса — все в ней пленяло Федьку. Если бы ему сказали: «Получишь девку, если примешь невероятные муки от каленого железа», — он бы, не задумываясь, выбрал последнее. Сколько раз он просил у барина: «Ваша милость, отдай за меня Дуняшу — век собакой буду!». Барин смеялся: «Вишь ты какой силач, она же субтильна — задавишь ты девку». Неоднократные просьбы надоедали Межакову: «Пойми, дубина, она на тебя смотреть не хочет, руки на себя наложит, господину — убыток».

И все же Федька надеялся, что, пусть не теперь, через год, господа смилуются и выдадут за него Дуню, а он уж с ней поладит — шелковая станет. Он ей Ваньку припомнит!

Подойдя к барскому дому, Федька сел на ступеньку парадного подъезда.

— Ты чего, Федор? — спросил вышедший по делу камердинер Ефимыч. — Чего надобно?

— Барина бы повидать, — продышал сипло.

— Его милость заняты — в кабинете счета сверяют.

— Мне не к спеху, подожду.

— Осерчает барин.

— Пущай. — И замолчал, низко опустив кудлатую голову.

Ефимыч сообщил Межакову и предупредил его:

— Федька-кучер вас дожидается, мужик-то, видать, не в себе.

— Ладно, я с ним поговорю. — Межаков взял хлыст для верховой езды и вышел на крыльцо.

Увидев господина, Федька поднялся, его глаза слезились.

— Барин, батюшка, верни невесту, верни Дуняшу. — Упал на колени. — Верни! — повторял, как в бреду, хватая Межакова за ноги. — Будь отцом родным.

— Встань, Федор, — спокойно проговорил барин. — Давай разберемся в твоей просьбе.

Кучер поднялся и выжидающе уставился на Межакова.

— Пойми, дурья башка, Дуняша ныне вольная. Может быть женой чиновника, офицера, купца... Оставь несбыточные мечты, найди по плечу себе девку, женись, я помогу завести хозяйство. Тебе уже тридцать годков, пора кончать с глупостями..

— Ты, барин, обманщик! — закричал кучер. — Обманул меня!

— Ах ты, скотина! — Межаков размахнулся и стал наносить удары хлыстом по лицу, по груди, по рукам Федьки. — Люди! Взять его!

Барские лакеи, которых прежде не раз наказывал кучер, окружили Федьку и, несмотря на его сопротивление, поволокли в конюшню, наделяя по дороге затрещинами.

— Запереть его! Завтра я с ним разберусь, — сказал Межаков.

Однако разобраться барину с Федькой не пришлось. Тот выломал ночью дверь и исчез в неизвестном направлении.

О беглом дворовом управляющий сообщил в Кадников и в Вологду, указав его приметы и посулив хорошее вознаграждение полиции за поимку кучера.

*
* * *

В Михайловском замке Павел бесновался. Дежурные камергеры, офицеры, домашние старались не попадаться на глаза императору. Павел бегал по дворцу, крушил ботфортами мебель, смотрел на себя в большое зеркало:

— Урод, сударь, урод!

За окнами снег, голые деревья, ветер, скукота.

Крикнул:

— Кутайсов! Где генерал Аракчеев?

— Прибыл, государь, дожидается в малом зале, кофе с сухарями кушает.

— Почему раньше не доложил, сударь? Забыл? Я тебя!..

Кутайсов молчал, знал: откричится Павел Петрович — успокоится.

Так и вышло.

Павел понюхал из золотой табакерки табачку. Прочихался.

— Чего стоишь, граф? Зови Аракчеева.

Вошел Аракчеев, в артиллерийском мундире, лопоухий, с квадратным мясистым лицом и маленькими оловянными глазками. Уважал его Павел, доверял: вместе в Гатчине отбывали матушки Екатерины опалу.

— Алексей Андреич! — Государь распростер объятья. — Как живешь?

— Бог грехи терпит, ваше величество. — Аракчеев поцеловал государя в плечико. — Как ваше здоровьице? Как спалось?

— Плохо, Алексей Андреич, плохо... Сны страшные. Хожу я будто в нашем Гатчинском парке обнаженный, в виде Фавна.

— Не беспокойте себя, батюшка, сие суть ипохондрия.

— Нет, тут возвышенное. Позавчерась у памятника государю Петру Великому задумался этак я (адъютанты поодаль). Вижу, — ей богу, Алексей Андреич, — высокая фигура как бы в тумане; ощущаю страх, ибо знаю, что туманная фигура сия из небытия — воплощение прапрадеда, — и слышу дуновение какое-то и голос: «Бедный Павел!»

Аракчеев не решился возражать, почесал свой грушевидный нос.

— Божественное предначертание. Опасаться вам след ваших недругов.

— И я так мыслю, Алексей Андреич.

— Ваше величество отозвали армию генералиссимуса Суворова?

— Отозвал. Канальи австрийцы вокруг пальца обвели. Горюю о судьбе своих полков. Генерал Корсаков потерпел поражение в Швейцарии от французов. Повелел адмиралу Ушакову с эскадрой идти из Средиземного на рейд в Севастополь. Довольно для англичан пострадали.

— Имени русского не посрамили, — сказал Аракчеев, — Бонапартия укротили.

— «Укротили, укротили!» Короны спасали! Суворову титул дали светлейшего князя Италийского, а для чего? Вот я с господином первым консулом Франции Буонапартием мир заключу! Как союзнички на сие взглянут?

— Военный губернатор граф Пален, — доложил, остановившись в дверях, камергер.

Алексей Андреевич не терпел графа Палена, имевшего влияние на государя, потому официально вытянулся во фронт.

— Разрешите, ваше величество, удалиться по делам службы.

— Посиди еще, Алексей Андреич.

— Никак не могу, в артиллерийском управлении ждут.

— Ну иди, почаще бывай у меня.

Аракчеев, сутулясь, прошел к двери, где произошла заминка.

Высокий изящный Пален уступал место Аракчееву, а тот ему.

— Проходите, ваше сиятельство.

— Сначала вы, ваше превосходительство.

Павел из зала скомандовал:

— Разойтись! Граф Пален, пожалуйста ко мне. Доложите, что в городе произошло, мне недосуг.

Пален вынул из обшлага мундира рапортичку и присел на краешек кресла.

— Вчера вечером шестеро офицеров лейб-уланского полка в ресторации на Невском пили за здоровье цесаревича Александра Павловича. Фамилии улан известны.

— Мило, — сказал Павел, — а за уroda не пили? За отца цесаревича, надоедного Павлушку-колотушку не провозглашали здравицу?

— Никак нет, — спокойно отозвался Пален. — Да не извольте беспокоиться, сир (Пален всегда именовал Павла по-заграничному — «сир», что значит — государь), — мальчишки. Пока я губернатор, можете спать спокойно — все они у меня в кулаке.

— Что еще случилось в столице, граф?

— Из-за актерки-итальянки синьоры Пауличч корнет лейб-гвардии Литовского гусарского полка Вольский вызвал на дуэль чиновника коллегии иностранных дел господина Гусева. Коллежский асессор Гусев ранен шпагой в правое плечо. Корнета я посадил на гауптвахту, а Гусев лежит дома в постели.

— Поскольку смертоубийства не учинено, корнета с тем же чином перевести из гвардии в армейский драгунский фельдмаршала Румянцева полк в Киевскую губернию. О чиновнике сообщить в коллегию для записи в послужной список, — распорядился император.

— Слушаюсь, сир. И последнее. Прибывший из армии генералиссимуса поручик Колесов сообщил, что его сиятельство Александр Васильевич Суворов заимел двух генералов-адъютантов.

— Безобразие! — Павел застучал шпорами. — Два генерал-адъютанта полагаются на поле только императору. Направить к князю Суворову немедля фельдъегеря с изъяснением моего монаршего недовольствия.

— Исполню, сир. Не смею задерживаться.

— К Суворову не забудьте, граф, послать. С ума сходит старик! Подумать только — два генерал-адъютанта!

Пален, однако, не сразу ушел из замка, а спустился на первый этаж, где как бы случайно встретил в коридоре наследника Александра Павловича. Пален

остановился, оглянулся и, убедившись, что никого нет, отдельно произнес:

— Ваше высочество, готовьтесь. Десятый раз повторяю вам: или низложение государя и ваше вступление на престол, или ваш арест и крепость.

— Когда? — близоруко щурясь, испуганно спросил наследник.

— Суворов и Ушаков отозваны. Мало ли какие глупости может натворить деспот. Чем скорее, тем лучше. Верные офицеры ждут. Не будьте бабой, ваше высочество.

— Я вам благодарен, граф. Я, кажется...

— Нельзя ли, Александр Павлович, без «кажется»?

Раздались шаги дежурного офицера, преданного Палену.

— Граф, сюда идут.

— Ах, черт! — губернатор пожал руку цесаревича и удалился за офицером.

А наверху Павел еще долго бегал по залам, сбрасывая с диванов атласные подушки. Заметив сидящую у окна любимую болонку императрицы Изольду, так поддал ее ногой, что собачка перевернулась и, визжа, уползла в апартаменты Марии Федоровны.



Вьюжным вечером капитан Иван Васильевич Павлов шел в гости на встречу Нового года к барону Ламсдорфу. Он шел своим мерным солдатским шагом по набережной Васильевского острова, посматривая на украшенные разноцветными масляными площадками фасады домов, на костры посреди замерзшей Невы. У костров грелся бедный городской люд: извозчики, нищие, крестьяне.

Особняк Ламсдорфа был ярко освещен площадками, образующими вензель императора, и смоляными факелами. Из окон доносилась военная оркестровая музыка. У подъезда стояли кареты и санки. У парадных дверей застыли часовые. Они враз взяли на караул, увидев поднимающегося по ступенькам офицера.

— Замерзли, бедняги! — Павлов, отвернув полы зимнего плаща, нашарив в кармане серебряную монету, положил ее на гранитный приступок рядом с часо-

вым (принимать в руки деньги постовые солдаты не имели права).

— Ребята, после смены выпейте по чарке за мое здоровье.

— Покорно благодарим, ваше благородие! — простуженно гаркнули повеселевшие часовые.

Новогодний бал был в полном разгаре. Горели сотни восковых свечей. Блестел паркет. Блестели генеральские и офицерские мундиры. Блестели бриллиантовые и золотые украшения на декольтированных дамах.

Генерал Ламсдорф в мундире с красной анненской лентой через плечо и его супруга, сухопарая немка, принимали гостей.

— Представляю тебе, Марихен, моего лучшего офицера, — сказал барон, — капитан Павлов.

Капитан почтительно склонился перед генеральшей.

— Он не очень плохой кавалер, он зер гут, твой Павлов, — резюмировала баронесса, смотря вслед удаляющемуся капитану. — Ты его приглашай.

— Всенепременно, Марихен. — И генерал устремился к входящему в залу графу Кутайсову.

— Осчастливили, ваше сиятельство! — Ламсдорф приложил руку к сердцу. — А графиня не больна ли?

— Графиня извинение приносит. Государыня Мария Федоровна велела остаться при ее особе — у нее насморк и она изволит скучать, — объяснил, растягивая слова, Кутайсов.

Многие гости столпились вокруг графа, стараясь показать свою приязнь к государеву любимцу, улыбались, расшаркивались. Только несколько гвардейских офицеров стояло в стороне.

Павлов был неподалеку от офицерской группы, скучал. В генеральских хоромах капитан чувствовал себя неудобно и стеснительно.

В офицерской группе громче других звучал голос высокого семеновского поручика:

— Поймите, господа, мы не живем — прозябаем, тиранство округ, сапоги вылизываем Кутайсову — сему ничтожеству!

— Да бросьте, поручик, — миролюбиво перебил его флотский мичман, — сии истины поберегите про себя, ежели не желаете на гауптвахту попасть.

— Нынче вся Россия на гауптвахте! — не унимался поручик.

Павлов невольно прислушался к этим разговорам.

— Забыли, господа офицеры, — сказал толстый пожилой майор-измайловец, — начисто забыли «маркиза Пугачева», как его величала покойная царица Екатерина, коротка память у молодых, а я лицезрел сержантом сгоревшие усадьбы и вздернутых на воротах помещиков и управителей.

— Не спорьте, господа! — снова вмешался мичман. — Мы старый век провожаем, умерьте пыл. А вот, кстати, и его превосходительство к нам идет.

— Прошу откусать! — обратился генерал к офицерам. — Бокалы на столе. — И широким жестом указал на раскрытые двери столового зала...

Когда в полночь в Петропавловской крепости ударила пушка и часы отбили «Коль славен наш господь в Сионе», гости поднялись и осушили бокалы за новый, девятнадцатый век.

*
* * *

Суворовские войска возвращались из альпийского похода, они были в рваном обмундировании, но шли гордо, овеянные славой Сен-Готарда, Чертова моста, бессмертной славой суворовского гения и мужества русских воинов.

Павел Петрович хотел устроить генералиссимусу торжественную встречу, но отменил ее: не мог забыть генерал-адъютантов.

Сам старый полководец простудился и лежал в петербургской квартире, изможденный, худой, но все еще под впечатлением похода.

— Помилуй бог — говорил он. — Удалось-таки побывать с чудо-богатырями в гостях у орлов!

Граф Пален по должности военного губернатора рапортовал императору о тех, кто навещал больного князя Итальянского. Их было много: сенаторы, князья, генералы. Иных пускали к больному, иные только приносили свой ришпект — врачи запретили излишне беспокоить генералиссимуса.

Александр Васильевич знал, что умирает, держался спокойно. Пожил хорошо, честно, воевал, любил

отечество, друзей, солдат, свою дочку Суворочку, сделал все, что ему было предназначено.

Он ласково беседовал с соратниками — героями Измаила и Итальянского похода: князем Багратионом, генералом Кутузовым, атаманом Платовым; с удовольствием слушал вирши навещавшего его поэта Державина; советовался о надписи на могильной плите. Званий и титулов у Суворова много, но не парадной пышности желалось полководцу, поэтому он обрадовался, когда Гавриила Романович Державин произнес:

— Следует учинить надпись из трех слов: «Здесь лежит Суворов».

— Помилуй бог, хорошо! — воскликнул Александр Васильевич. — Поцелуй меня, друг!

Хоронила Суворова вся столица. За гробом, поставленным на артиллерийский лафет, шли с приспущенными полковыми знаменами войска; на зданиях были траурные флаги. Когда процессия медленно двигалась к Александро-Невской лавре, навстречу выехал верхом император. У Павла болело горло, и шея была повязана шарфом. Он пропустил мимо себя войска и салютовал гробу Суворова шпагой.

Иван Павлов, ведущий роту, не мог сдержать слез, внимая залпу, под который в соборе лавры опускали под спуд гроб полководца.

Державин написал ставшую популярной в столице песню «Снигирь», посвященную Суворову. Ее списывали и разучивали, и скоро Иван Павлов знал ее наизусть.

Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов
С горстью Госсиян все побеждать?

.
Нет теперь мужа в свете столь славна:
Полно петь песню военну, Снигирь!
Бранна музыка днесь не забавна,
Слышен отвсюду томный вой лир;
Львиного сердца, крыльев орлиных
Нет уже с нами! — что воевать?

Первый консул Республики генерал Наполеон Бонапарт отослал без выкупа на родину русских военнопленных, снабдив их провиантом. В послании к Павлу он высоко отзывался о героизме и мудрости императора.

— Генерал Буонапарте понимает меня. — Павел проговорил это за обедом, на котором присутствовали августейшая семья и приглашенные близкие ему лица.

— Генерал покончил с санкюлотами и восстановил французское государство. Не так ли, сударь наследник? Или вы англоман?

Он посмотрел на Александра Павловича — аккуратно: красивыми складками лежит салфетка, закрепленная за борт мундира цесаревича.

— В Смольном не изволили ли воспитываться? Вишь как расправили салфетку! Ровно деревенская бабышня!

Александр Павлович нежно покраснел.

— Господин первый консул, — с дрожью в голосе сказал он, — человек бесспорных дарований, я могу только радоваться, что генерал заслужил ваше одобрение.

Замолчали. Граф Пален счел нужным разрядить неловкость.

— Сир, преизрядный анекдот вышел в Шляхетском корпусе: кадет Похвистнев на пари с кадетом Балашовым съел зараз два фунта слоеного хлеба и дюжину миндальных пирожных. Ему сделалось до того худо, что он ночью закричал: «Караул, умираю!»

Павел благосклонно:

— Не окочурился ли кадет?

— Приняты были приличествующие сему меры.

— Какие? — любопытствовала пышнотелая фрейлина Гагарина, фаворитка государя, сменившая худенькую Нелидову.

— Фи донг! — молвила Мария Федоровна. — За обед такое не говорят.

— Почему же? — взвилась обидой Гагарина. — Почему ваше величество думает, что «за обед», — передразнила она императрицу, — такое не говорят?

— Поведайте, граф, — попросил и великий князь Константин Павлович, любитель казарменных острот, такой же курносый, как отец.

— Извольте, — галантно наклонил голову Пален. — Корпусный медик Шмидт, простите великодушно, влил кадету в рот кружку слабительного, и фельдшер четырежды ставил ему промывательное.

— Уморили граф! — Павел лающе захохотал. — Промывательное! Небось пузо-то у кадета вздуло! — И он опять захохотал.

Государю вторил худенький в красном сенаторском мундире поэт Нелединский-Малецкий, сентиментальные, стилизованные под народные песенки которого нравились Павлу.

После обеда Пален, прогуливаясь с наследником по залу, тихо говорил:

— Толчем в ступе воду и все пока без толку... Беседовал я с генералом Бенигсеном. Он тоже моих взглядов, тоже согласен на воцарение вашего высочества, но советует выжидать: надо увеличить число вовлеченных офицеров. Жаден генерал, денег не дает, а их надо много. Генерал Аракчеев — друг деспота и сам кнутобоец. В Гатчине капрала и рядового так отделили на кобыле, что они богу душу отдали.

— Дисциплина нужна, граф. — Александр взял Палена под руку. — Нельзя распускать солдат. А что касается денег, то у меня, сами знаете, все под контролем батюшки и Кутайсова.

— Знаю, Александр Павлович. Английский посол на куртаге обещал сумму превеликую. Опасаюсь я британцев: при успехе потребуют такое, что ущерб империи может принести. Каково ваше мнение?

— Я весь, граф, в ваших руках, доверяю, как старшему брату. — Цесаревич мило улыбнулся, для того, чтобы присутствующие думали, что у него с Паленом обычный придворный разговор.

Павел в кабинете отдыхал за беседой с Нелединским-Мелецким.

— Затяни-ка, господин сенатор, свою «Реченьку».

Нелединский тоненькой фистулой начал, Павел стал хрипло подпевать.

В кабинете горели канделябры. Их свет отражался в расписных стеклянных ширмах. Когда император принимал доклады или рапорты полковых командиров, он сидел за ширмами, дабы не надышали на него простуды или другой какой болезни.

Стояла сухая без дождей осень 1800 года.

Федька около года шатался по лесам, ночевал в стогах, обносился. В свою волость не заходил: там бы поймали и, наказав батогами, сдали Межакову.

Федькой владела одна мысль — отомстить Ваньке-офицеру. Ежели бы не Ванька, Дуняша рано или поздно досталась бы ему, в это он крепко верил.

В Вологде разыскивать Дуняшу боялся: узнает полиция, — небось его приметы разосланы по губернии. Обувка у него сопрела; он оброс дремучей бородой; увидев свое отражение в лесном озерце, подивился: «Чисто леший!» Надо было принять божеский вид, а для этого годилось только одно: выйти на проезжую дорогу, подкараулить кого побогаче и ограбить.

Однажды ему повезло: в казенном глухом лесу в заброшенной сторожке Федька застал молодого охотника и легавую собаку. Охотник, по обличию барин, в теплой куртке, в высоких сапогах и меховом картузе, сидел на лавке; легавая лежала у его ног. Рядом с собою молодой человек положил двустволку, нож с костяной рукояткой, патронташ и кожаный мешок. Лицо у него было бледное, усталое.

Собака яростно залаяла, увидев незнакомца.

— Здравствуйте, барин, — сказал Федька.

— Здравствуй, братец, — испуганно произнес охотник. — Я заплутался. А ты откуда?

— Из лесу, барин, дровишки казенные понадобились. Вишь у меня за кушаком топор востер — ходил срубить елочку, да вот тебя узрел. — С этими словами он ловко сдернул с лавки ружье и направил его на охотника.

— Не шути! — крикнул барин. — Я тебе золотой дам... Ружье-то заряжено...

— А мы счас испробуем! — И Федька нажал курок. Запахло порохом.

Пес вцепился в Федькину штанину. Тот взмахнул топором — и животное с жалобным воем растянулось на земляном полу.

— Не гавкай, — сказал Федька и дрожащими пальцами стал расстегивать куртку на еще теплом труп охотника. Сорвал с шеи золотой крестик на цепочке. В кошельке обнаружил три ассигнации по пять рублей

и два червонца. В патронташе — пыжи, дробь, порох. В мешке — кусок домашней колбасы, серый хлеб и фляжку вина.

Убив человека, Федька не испытал раскаянья — он привык увечить людей, своих земляков, а молодой барин — чужой: «На кой ляд горевать?»

Федька побоялся снять одежду с трупа, взял только нож, подзаправился едой и вином из фляжки.

Куда парня девать? Оставить здесь — могут лесники зайти, яму рыть — канитель и не к чему... «Эх, куда ни шло!» Взвалил на себя мертвое тело и потащил к озерцу. Наложил барину под рубаху камней — и с богом: «Корми раков да налимов!» Вернулся обратно: «Фу ты пропасть!» Пес лежит, ружье. Опять пришлось тащиться к озерцу...

К ночи вышел из лесу на окраину деревушки. В сарае проспал до утра, зарывшись в пахучее сено. Ранним утром обошел задами деревушку, вышел на проселочную дорогу и, пройдя версты три, увидел большую избу с шестом, на котором болтался клок сена: значит — кабак.

В кабаке утром пусто. Когда отворил дверь, показался хозяин, старик — косая сажень в плечах, под стать самому Федьке.

Федька снял драную шапчонку, перекрестился на иконы, сел на лавку.

— Вина полштофа да яичницу с салом. Хлеба...

— Откель ты такой шустрый? Монета-то есть?

— Найдется, старинушка, а откеле я — тебя не касемо.

— Бродяга, видать, мотри, чтоб десятники не приметили.

Старик был хитрый, сообразительный, всякое видел и молчать умел.

Федька положил на стол ассигнацию.

— Знаешь, парень, пройди-ко ты лучше в боковушку.

Провел в боковушку — тепло, благодать.

— Сказывай, что надобно? — спросил прямо кабатчик.

— Мне бы, хозяин, обувку да одежду почище, за деньгами не постою.

— Ладно, только уговор: ни я тебя, ни ты меня не видал.

— Вестимо, хозяин, вот те крест! — обрадовался Федька. — Сколь возьмешь?

— Ты, милачок, спервоначала откушай моего хлеба-соли.

Старик принес на сковородке шипящую яичницу, хлеб и полштофа водки.

— Кушай, парень, а я пойду за одежкой.

Вскоре хозяин появился с большим узлом и подал Федьке справный полушубок, миткалевую рубаху, чистое исподнее, нанковые штаны и меховую заячью шапку.

— Мещанином выглядишь, — сказал, посмотрев на Федьку. — А казенну бумагу имеешь?

— Нету, хозяин, кто бы достал, того бы благодарил и вечно поминал.

— Поминать вечно не след — денежки плати. Я даром что сивый, вижу — скрываешься ты. Я тута с вещами и бумагу припас. Один дворовый вместе с кафтаном пропил, обещался должок принести, да и пропал.

— Я неграмотный, прочти, сделай милость.

Хозяин взял в руки засаленную бумагу с печатью, приблизил к глазам и нараспев:

— Новгородской губернии Череповецкого уезда деревни Панфилка дворовому человеку господина и кавалера Николая Наумовича Ястребова — Анисиму Петрову Редькину двадцати осьми годов дана сия бумага в том, что сей дворовый Анисим Редькин отпущен мною на оброк сроком на три года, что подписью и печатью скрепляю. Потомственный дворянин и кавалер Николай Ястребов, третьего июля месяца 1800 года.

— Подходяще, значит, я теперь Редькин Анисим Петров. Не забуду, милостивец. — Федька протянул руку к бумаге.

— Не лапай, парень, не купил еще. Плати пять рублей за одежду и золотой за бумагу.

Федька не спорил, уплатил благодарно.

— Дай-ка я тебе волосья в порядок приведу — страшен больно, — предложил хозяин. Принес овечьи ножницы и горшок. Постриг.

— Мимо речки будешь идти, умойся. А теперя: вот те бог, вот порог. Мы квиты и друг дружке не родня.

Федька молча поклонился кабатчику, тот даже головы не повернул. И «Анисим Редькин» с мешком, уже не скрываясь, пошел по проселочной дороге.

*
* * *

Петербургский скульптор Михаил Иванович Козловский, создатель героических образов, отличающихся ясностью и выразительностью, автор могучей фигуры Самсона для петергофского фонтана, по приказу Павла Первого представил в императорский кабинет модель памятника Суворову. Как бы ни относился Павел к генералиссимусу, тот прославил его царствование и должен быть увенчан монументом.

Павел покровительствовал военному украшению столицы. Молодой зодчий Василий Петрович Стасов, по высочайшему заказу, немало потрудился над проектом постройки казарм лейб-гвардии Павловского полка. Казармы на западной стороне Марсова поля получились классически строгими, с двенадцатиколонным портиком в центре и с шестиколонными портиками по краям главного фасада.

Мастер портрета Федот Иванович Шубин выполнил бюст и самого императора. Позировал ему государь через стеклянную ширму и, хотя наградил Шубина, но портретом остался недоволен: курнос больно и видом не благопристойен.

С Козловским разговаривал тоже через стекло.

— Молодчик, сударь Козловский! Так и производи сей памятник! Сам-то Александр Васильевич ростиком не вышел, а ты его Марсом изобразил, хвалю! — Павел даже вышел из-за стеклянной ширмы, похлопал скульптора по плечу. — Золотой перстенок заслужил. — И придворному камергеру: — Распорядись, дабы награда не осталась всеу.

Козловский и его мастера торопились. И вскоре бронзовый, в римских доспехах, в шлеме и с обнаженной шпагой стоял олицетворяющий воинскую доблесть России князь Италийский, граф Рымникский генералиссимус Суворов.

А время шло по стране, и новый век отсчитывал новые веяния и новые невзгоды. Российская империя и Французская Республика заключили договор о мире.

В Британском посольстве негодовали. Посол и секретари возмущались, ездили к петербургским вельможам и шептали: «Император Павел болен головой, проще говоря, безумен: он (какой афронт! Какой ужас!) заключил, невзирая на союзников, мир с генералом Бонапартом! Император объявляет республиканского кондотьера своим другом! Он хочет блокировать наши королевские владения. Надо что-то предпринимать — безумец на троне опасен!»

Секретарь посольства все чаще и чаще навещался в особняк Петра Алексеевича Палена. После его ухода губернатор удовлетворенно раскладывал столбиками золотые монеты. Золото не задерживалось в кошельке графа, а расходилось среди ленивых изнеженных господ, привыкших при Екатерине командовать солдатами не лично, а через своих капралов и сержантов. Эти офицеры готовы были следовать за Паленом.

Английских банкиров и лордов настораживало и пугало влияние России на Востоке. Если еще в давнее время грузинские властители кланялись своими землями царю Федору Ивановичу, что имело лишь чисто символическое значение, то теперь, когда иранский шах разорил Грузию и угнал в плен десять тысяч юношей и девушек, грузинский царь и владельческие князья имеретинские и мингрельские просили императора российского присоединить их к великой христианской державе.

Павел торжественно объявил манифестом о присоединении Грузии к России, и не только объявил, но и послал в Тифлис русские войска, ставшие там гарнизоном. Это избавило грузинские земли от разорительных набегов иранцев и турок.

Добровольное вхождение в 1801 году Грузии в Россию было неприятно Британии. Английский лев всегда с вождедением взирал на Кавказ. Христианские банкиры и добрые лорды вооружали Иран и Турцию.

— Эх, нету князя Безбородки! — в минуты раздумий о внешней политике говорил Павел Аракчееву. — Умница был канцлер! Хохол, попович, а десятка знатных персон стоил! Мы с тобой мозгами не вышли, да-с!

— Батюшка Павел Петрович, — сипел Аракчеев преданно, — вы умнее канцлера, у вас мозга чувственная, артиллерийская мозга!

— Почему артиллерийская? — изумился Павел. Аракчеев ласково:

— Ан, батюшка, видели: запал к пушке приложишь — вспыхнет она убойным пламенем, и ядро — бац, бац по неприятелю! Так и вы, так и вы! — Генерал вскочил, замахал руками: — Первая, при-и-и-готовьсь! По дистанции... пли!

Павел тоже вскочил, закружился по залу.

— По дистанции! Ах, Алексей Андреевич, сколько ты приятен сердцу моему!

Потом сидели, чай пили. Чайный столик — китайский, хлипкий, разрисованный аистами и камышовыми травами.

— У нас, батюшка Павел Петрович, в Новгородской столы ровно богатыри. — Аракчеев, деликатно растопырив пальцы, прихлебывал чай с блюдечка, держа кусочек сахара во рту. — У меня в усадьбе плотник Андреев обеденный стол скособочил, так я его, подлеца, на этом же столе арапником выпорол. Нельзя народ баловать, слава те господи, не во Франции живем! И тот плотник исправился: диван дубовый сделал — загляденье, и фигурки для украшения его вырезал — медведя и оленя.

Утешительно беседовали. Прощаясь, расцеловались.

Ночью в угловой спальне император проснулся. Кто-то шарил по одеялу. Дрожащий свет лампадки слабо озарял комнату.

— Кто тут? — испугался Павел, но увидев рыжего котенка, невесть как попавшего на императорскую кровать, успокоился. «Словно индийский шелк», — подумал. И вдруг неожиданно для себя решил: — Напугаю англичан, пошлю казаков в Индию для разведывания проходов; генерал Бонапарт мерси скажет. — И сладко уснул под кошачье мурлыканье.

*

* *

Наказному атаману всевеликого войска Донского генералу Орлову-Денисову пришло из Петербурга повеление, подписанное Павлом Первым 13 января 1801 года, подготовиться к немедленному походу в

Индию, имея в резерве запасных лошадей, артиллерию, провиант, полевые кухни и подвижные лазареты.

В Английском посольстве испугались. Дипломаты вспомнили, что еще Петр Великий посылал в Хиву отряд Бековича. Из Лондона в феврале прибыл в Петербург советник кабинета министерства с предписанием любыми средствами задержать казачий поход. Советник в секретном разговоре с послом сказал, что король и лорды готовы ассигновать любые суммы, дабы добиться смены верховной власти в России — заменить императора Павла цесаревичем Александром.

Английский посол увиделся с Александром на одном из великосветских раутов. Приветствуя цесаревича, нарочно обмолвился: «Ваше величество», на что Александр заметил: «Я не величество, сэръ, а всего лишь высочество». Дипломат вежливо ответил: «Вы, принц, скоро станете величеством». Александр не возмутился, а только пожал плечами.

«Государь сошел с ума, — твердили тишком и озираясь в светских салонах вельможи, дамы, генералы. — Он давеча принял французского посла. Какой ужас!» Посол был перепоясан трехцветным республиканским шарфом!»

Присутствие французов, посланных Бонапартом, чрезвычайно тревожило столицу. Но преданные Павлу военные, а это были в большинстве служаки в малых чинах, привыкшие к фрунту и дисциплине, говорили: «Государь знает, что делает, наше дело выполнять его повеления».

На Дону готовились к индийскому походу: старики учили молодых рубке лозы саблей. Показывали, как правильно действовать казачьим оружием — пикой. Проверялись лихие кони-дончаки, верные друзья, настолько верные, что донской казак и конь представляли как бы одно нерушимое целое. В суворовских походах случалось, что если у коня погибал хозяин, конь не подпускал к себе никого другого, тосковал и умирал. И никогда казак не говорил о коне — сдох вместо уважительного — кончился.

— Ну как, Матвей Иванович, выдюжим поход? — спрашивал Орлов-Денисов атамана — генерала Платова. Тот, посасывая трубку, отвечал сквозь прокуренные усы:

— А как же, ваше превосходительство, казаки да не выдержат! Только к чему сей поход? Но, коли государь решил, тому и быть. Знаю Павла Петровича. Слава богу, не угодивши ему, похлебал арестантских щей в Петропавловской крепости, а потом, глядь-поглядь, он звездой наградил...

На Дону готовились к походу, а в Петербурге — к перевороту. Торопились.

Собирались тайком то у Валериана, то у Платона Зубовых. Платон, последний фаворит Екатерины, в сущности, не имел никакой причины желать гибели Павла Петровича, наоборот, император не тронул никого из Зубовых — оставил им чины и поместья, но — уж такова, видно, человеческая натура — Зубовы надеялись, что с воцарением любимого внука Екатерины Алексеевны они будут еще в большей милости.

— Не терплю я эту курносую обезьяну! — говорил Валериан Зубов Палену. — Зажал, деспот, в кулак дворянство, лишил знатные роды привилегий, требует равняться на капралов.

— При сумасшедшем царе не знаешь, что будет завтра, — вторил брату князь Платон.

— Так-так, — поддакивал братьям Пален, — нет при государе воли благородным персонам, — хотя он и знал, что захудалые дворяне Зубовы прошли в «сиятельные» только лишь благодаря смазливому Платону, получившему княжеское звание в постели старой императрицы.

Петр Алексеевич Пален торопил заговорщиков:

— Дело, господа, не ждет, весна близка, и уедет злодей либо в Павловск, либо в Гатчину, а там гарнизоны, преданные ему, один Аракчеев чего стоит. Палач первостепенный! Сколь мужиков замучил!

Пален, остзейский магнат, жестоко, за малейшую провинность наказывавший крепостных, считал, однако, себя добрым помещиком.

— Павлуша многие сотни крестьян своим гатчинцам роздал, но не истинным дворянам, а голытьбе армейской! — кричали пьяные заговорщики.

— Раздавал с уговорами, — усмехался Пален, — будьте, мол, для своих крестьян за отца и мать, блюдите их нравственность и не обижайте, ибо они суть по христианству ваши братья. Смешно!

— Сумасшедший, ей богу, сумасшедший! — шумели дворяне.

— Караулы в Михайловском замке малые, пароль для подъемного моста каждую ночь Павел меняет, но я сии пароли по своей должности знаю. Нам пройти в замок — пустяк. Караул разоружим, а ежели потребуется — уничтожим... Так вот, господа, в ночь с одиннадцатого на двенадцатое марта пойдем туда и предложим злодею отречься от престола, — сурово проговорил Пален.

Заговорщики согласились.

— Поклянитесь на шпагах хранить тайну до того дня и будьте все на месте сбора.

— Клянемся, граф, клянемся!

Обнажились клинки шпаг.

Выпили еще по бокалу и в знак преданности Палену разбили их со звоном об пол.

*

* * *

Онисим Редькин — так теперь звался Федька — добрался до Петербурга. На постоялом дворе на Выборгской стороне проверили его бумагу, пустили в постояльцы. И вид Онисима, весьма опрятный, и его знание лошадей (он помог хозяину вылечить коня) — все располагало к нему.

— Ты бы, Ониська, сходил к главному кучеру его сиятельства Валериана Александровича Зубова. Угости его в кабаке, авось возьмут в конюхи; конюшня и псарня у них огромные. Кучера величают Мартемьяном Ильичом... Да и я замолвлю за тебя словечко, — посоветовал хозяин.

Так и сделал Онисим. Изрядно угостил рыжебородого Мартемьяна, и тот велел ему прийти на зубовское подворье.

Там Онисим блеснул: кони его слушались, упряжку знал, на козлах сидел, как влитой.

— Что это за мужик? — спросил сам Валериан Александрович, случайно увидев в окно Онисима.

— Новый человек из Череповецкого уезда, отпущен на оброк, — доложил камердинер.

— На морду суций зверь! — засмеялся Зубов. Пусть запряжет в саночки Булана — покатаюсь. Ежели

понравится, возьму на конюшню. Распорядись, любезный, чтобы мужику дали кучерский наряд. Он мне одного хама вологодского напомнил, а ты говоришь — череповецкий.

— В бумаге, ваше сиятельство, сказано.

— Ну, бумага может и фальшивой быть.

Когда вышел в собольей шубе Валериан Александрович, сробел Онисим Редькин: года два назад схожий барин на масленой бывал у Межаковых, катал его Федька на тройке, и одарил его господин полтиной. Фамилии барина Федька не знал, да и интересу в том мало было, а полтина пригодилась.

Онисим отвернул свое лицо от Зубова.

— Поезжай на Царскосельский тракт, дорогу укажу,— приказал Валериан Александрович.

Лакей застегнул медвежью полость, и сани тронулись. В том, что кучер — мастак, Зубов убедился сразу, как только выехали на царскосельскую дорогу.

— Умеешь править. Лошадь в твоих руках что воск.

Волей-неволей Онисим обернулся.

— Да ты, брат, мне знаком,— жестко сказал барин.— Я тогда у дальней родни в Вологодской губернии гостил, у господ Межаковых, в Никольском, на твоей тройке катался.

— Ошиблись, ваше сиясь!— отводя взгляд от Зубова, молвил Федька.— Я Онисим Редькин из Череповецкого уезду, бумага на то имеется.

— Не притворяйся дураком!— прикрикнул Валериан Александрович.— Прикажу полиции навести справки, худо тебе будет, признайся лучше.

Федька остановил у перелеска Булана, соскочил с облучка и упал в ноги барину.

— Не погубите, ваша милость! В бегах я от господ, а бумагу купил у кабатчика.— Федька целовал медвежью полость, крестился.— Не погубите, барин!

Зубов сообразил, что Онисим может быть полезен, да и канителиться с полицией не хотелось. Кучером он был хорошим.

— Ну, слушай меня, Ониська! Так тебя, кажись, по бумаге величают. Мне никакого дела нет, почему ты в бегах, возьму тебя к себе, но помни: не угодишь — покаешься. Поехали!

Зубов плотнее закутался в шубу, и санки понеслись по тракту.

И стал Онисим кучером у Зубова. Валериан Александрович даже шутил, когда ехал с ним.

— Ну, зверь, в лес еще не сбежал?

— Никак нет, ваше сиясь! Мне у вас, барин, неплохо.

Наступил мозглый март, на улице грязь. Ездить в санях невмочь. Теперь Онисим возил Зубова в изящной карете. Кучеров было четверо, кормили их хорошо. Свободными вечерами Онисим ходил по Питеру к воинским казармам, выискивал Ваньку-офицера.

Во время прогулок у него всегда за голенище был засунут острый нож убитого молодого охотника.

*

* *

У Павла Петровича болело горло. Он сидел у себя в кабинете, повязав шею теплым шарфом. Был недоволен, желчен. Дежурный флигель-адъютант поручик Вязьмитинов с испуганным лицом притулился в приемной у двери кабинета и боялся пошевелиться. Когда вошел в приемную цесаревич, он вытянулся и на цыпочках подошел к Александру. Шепотом:

— Его величество в сугубой меланхолии. Прикажете доложить?

— Доложите,— тоже шепотом ответил цесаревич.

— Боюсь, что ежели не отдам рапорт, батюшка разгневается.

Но в эту минуту дверь кабинета растворилась и перед ними предстал Павел Петрович.

— Чего шепчетесь, судари?— прохрипел он.— Ах это вы, ваше высочество, проходите, докладывайте.

Александр подошел к Павлу Петровичу, склонился и поцеловал протянутую руку. Вместе вошли в кабинет.

— Садитесь, Александр Павлович. С чем пожаловали?

— Я, батюшка, по вашему приказанию провел смотр лейб-егерского полка.

— Ну и как?

— В полном авантаже, государь, хоть сейчас на парад.

— Какой батальон отличился?

— Майора Ржаницына, государь.

Павел наморщил лоб.

— Подожди, Саша. Майора Ржаницына? Это там, где ротным капитан Павлов?

— Так точно, государь.— Александр всегда удивлялся памяти отца — тот отлично помнил всех своих любимых офицеров.

— Ах, Саша! — сказал задумчиво Павел.— До чего хорош капитан! Субординарен, вежлив, примерный и преданный офицер. Вот что, ваше высочество.— Павел, тяжело ступая, прошелся по кабинету.— Хочется мне видеть его. Повели полковнику Измestьеву, чтобы завтра с утра прислал ко мне капитана Павлова. Есть у меня прихоть взять его офицером ко мне в постоянный караул, верю я ему, не продаст меня. А как ты думаешь, сударь?

Александр вздрогнул.

— Все мы верные слуги вашего величества, все мы, батюшка, вас любим.

— А ты меня любишь?

Александр приложил руку к сердцу.

— Разве вы сомневаетесь, государь?

— Не знаю, не знаю,— прохрипел Павел.— Предчувствие меня гложет, сомнения берут.— И закричал: — Не угоден я вам, господа! Мечтаете о моей смерти! Не возражай, не возражай! Ах, до чего сердце щемит! — И официально: — Не задерживаю, ваше высочество, ступайте, выполняйте приказ. И он повернулся спиной к наследнику.

Иван Павлов вернул данные ему тайком прапорщиком его роты Михаилом Евсеевым рукописные листы из сочинения господина Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Евсеев говорил:

— Иван Васильевич! Полностью сочинение дать не мог — сия книга была всенародно огню предана на костре палачом. Матушка государыня Радищева в Сибирь в городок Илимск на десять лет сослала, что от Иркутска на тысячу верст, а от Петербурга на семь тысяч отстоит.

— Миша, а где в сей день находится сочинитель?

— Царь Павел изволил вернуть Александра Николаевича в его усадьбу Нелидово Калужской губернии.

— Откуда ты, Евсеев, сие так досконально знаешь?

— Ах, господин капитан, вижу, что вы человек справедливый и верный, и посему с вами откровенен. Я уже не молод, а все в прапорщиках состою: начальство невзлюбило, якобинцем зовут. Признаюсь, Иван Васильевич, сочинения Радищева давно знаю, мысли его разделяю.

Маленький невзрачный прапорщик приосанился, высоко поднял руку и, откинув голову, нараспев прочел:

— «Ты хочешь знать: кто я? Что я? Куда я еду? Я тот же, что и был и буду весь мой век: не скот, не дерево, не раб, но человек!». Вот именно, Иван Васильевич, «не раб, но человек». Во мраке и страхе живем при царях. Захочет государь — какое угодно злодейство совершит, нет ему запрета.

— Ты, Миша, только что сказывал — государь возвратил из Сибири Радищева. Я из мужиков, а по его милости — офицер.

— То случай, а сколько их, солдат, государевы генералы палками забили! Узнай полиция о наших разговорах — не только сквозь строй палками прогонят, но и тебя офицерского патента лишат. Нет, друг, всякое самодержавство ограничить след.

— Почему же тогда господа дворяне и помещики невзлюбили Павла Петровича? — озадаченно спросил Павлов.

— Все потому, что царь Павел крут к дворянам. Служить заставляет их, тянуться. При царице никто не мог благородного и пальцем тронуть, а при Павле палками и плетью наказывают. И еще не забыли господа указа о воскресном дне. А кто этот указ исполняет?

— Никто, — отозвался Павлов. — Думаешь, при цесаревиче лучше будет?

— Дворянам лучше. Александр Павлович мягко стелет, а жестко спать остальным будет.

Валериан Александрович Зубов ранним утром вызвал к себе в кабинет Онисима Редькина. Сказал:

— Слушай, Онисим, ты обещал мне быть верным слугой и исполнять мои приказания. Поклянись на образ, что никому не скажешь, о чем я тебе поведаю.

Онисим стоял, переминаясь с ноги на ногу. Лицо было скучным.

— Убить, что ли, кого надо? — спросил равнодушно.

Даже Валериану Зубову стало не по себе.

— Надо, Онисим, одного офицера убрать и чтобы никто, понимаешь, никто о сем не знал.

— Вестимо, ваша милость. Кого прикажете?

— В лейб-егерском полку есть капитан Павлов, кажется, Иван Васильевич, вот его-то надобно убрать.

— Кого? — переспросил радостно Онисим.

— Павлова.

— Ваньку-офицера? Да я, ваша милость, со своим большим удовольствием! Да я ж от Ваньки пострадал.

— Как так? — заинтересовался Зубов.

Онисим рассказал о Ваньке-крепостном Межаковых, о Дуняше, которую считал своей невестой, и о том, что он дал обет с Ванькой встретиться и всерьез поговорить.

— Опосля разговора одному из нас не жить!

Зубов облегченно вздохнул.

— Отлично. Седни вечером с фореитором поезжай в казармы егерского полка. Фореитор Сенька узнает, где квартирует Павлов, и скажет ему, что его вызывает военный губернатор граф Пален. Посадишь в санки офицера, вывезешь за город и с ним покончишь. В городе с ним не разговаривай, чтобы не узнал тебя. Как покончишь — доложишь мне. Следов не оставляй. Приедешь — я тебя на другой день отправлю в свое воронежское поместье, там у меня большие конюшни. Будешь за главного. Понял?

— Как не понять вашу милость! — ухмыльнулся Онисим. — Все исполню в аккурат, не сомневайтесь, барин. — Он широко перекрестился. — Спасибо вековечное!

— Ну а теперь ступай и помни: проговоришься — тебе как.

Вечером подморозило. Редкие масляные фонари скупо освещали улицы притихшего города.

Иван Павлов, ничего не подозревая, сидел за столом и перед свечою читал устав воинской службы. В двери постучали. Старый денщик вошел в комнату, остановился перед офицером и доложил:

— Иван Васильевич, тут к вам фореитор от генерала прибыл. Неукоснительно хочет вас видеть.

— Зови. — Павлов закрыл книгу, встал, потянулся.

В уме мелькнула мысль: «Зачем понадобился генералу?»

Фореитор, стяхивая снег с шинели, почтительно произнес:

— Ваше благородие, военный губернатор граф Пален велел вашему благородию сей секунд к нему по самонужнейшему делу немедля прибыть. Лошадь у подъезда стоит.

Привыкший к субординации Павлов надел португепю со шпагой, накинул меховой плащ и вышел вслед за фореитором.

В неверном свете у подъезда увидел санки. Сел.

Фореитор застегнул полость.

— Счастливого пути, ваше благородие! — И пешком зашагал домой.

Сани понеслись по улице.

— Ты куда меня везешь? — спросил Павлов возницу. Тот молчал. — Я тебя спрашиваю, куда везешь? Изменив голос, Онисим ответил громко:

— Куда приказано, туда и везу!

Павлов почувствовал какое-то неведомое ему стеснение в груди. «С чего это, — подумал, — и зачем я понадобился губернатору и почему везут не в том направлении? Тайность, что ли?»

Санки свернули на Царскосельский тракт. У шлагбаума старик инвалид, увидев офицера, отдал алебардой честь и пропустил санки.

— Я тебя спрашиваю, куда везешь?

— Куда приказано, туда и везу.

Вскоре санки остановились.

— Выходи, ваше благородие! — Возница соскочил с облучка, быстро подошел к Павлову, сдернул меховую полость и произнес:

— Ну, Ванька-офицер, встретились снова. Не узнал, что ли?

— Федька! — крикнул Павлов. И в эту минуту Онисим сверкнул зажатым в кулаке длинным охотничьим ножом и вонзил его офицеру в живот.

Павлов не успел выхватить шпагу.

— Что ты делаешь?! Негодяй!..

Онисим вытащил офицера из санок и, несмотря на его сопротивление, потащил к сосне.

— Ну, смотри теперь на меня, господин Павлов! Это тебе за Дуньку! Это тебе за мою жисть! — И, снова

взмахнув ножом, вонзил его по рукоятку в горло капитана.

Ничего, кроме злобного удовлетворения, Онисим не чувствовал. Облегченно вздохнул. Сволок за ноги подальше в рощу труп, закидал его снегом и поехал обратно. Как ни жалко было Онисиму расставаться с красивым охотничьим ножом, он выбросил его на дорогу.

Утром спокойно сообщил Зубову:

— Так что, ваша милость, все сполнил. Не извольте беспокоиться — комар носу не подточит.

Вскоре Онисим Редькин, по приказу Валериана Александровича, с обозом отправился в воронежское поместье.

Встретив Палена, Зубов сказал:

— Капитан лейб-егерского полка Иван Павлов больше докучать никому не будет.

Полковник Измestьев получил предписание от дивизионного генерала Ламсдорфа направить капитана Павлова в Михайловский замок к государю императору. Он послал дежурного на квартиру к капитану, но оказалось, что еще вечером Павлов был вызван военным губернатором. Измestьев поехал в канцелярию губернатора. Петр Алексеевич Пален выразил недоумение.

— Шутите, полковник? Я капитана Павлова не вызывал. Не произошло ли чего с ним? — И тут же приказал обер-полицмейстеру немедля разыскать живым или мертвым Павлова.

Денщик при допросе его в полиции показал, что вечером неизвестный фореитор передал капитану на словах о немедленной явке к графу Палену.

Обер-полицмейстер объехал все заставы и узнал от старого солдата-инвалида, который стоял у шлагбаума, о том, что вечером на Царскосельский тракт проехали сани с офицером.

— Обратно в город когда вернулись? — спросил полицмейстер.

— Быстренько, ваше превосходительство, почитай через час. Только сумление меня малость взяло: в санках-то, кажись, офицера не было.

— Чего ж ты, болван, кучера не спросил, где офицер?

— Не успел, ваше превосходительство: только

шлагбаум повысил, как санки, словно оглашенные, промчались. Может, и был там господин офицер, может, и нет. А кучер важнецкий, богатого барина кучер — павлинье перо на шапке, да и санки и конь богатые.

Обер-полицмейстер сообразил, что тут дело связано с какой-то великосветской интригой, замешаны в ней высокие особы и, пожалуй, докапываться до сути не стоит.

— Я бы тебя, старого дурака, выпорол, да ладно.

Солдаты инвалидной команды под начальством полицейского чиновника обследовали Царскосельский тракт и наткнулись в перелеске на припорошенный снегом труп капитана.

В рапорте военному губернатору обер-полицмейстер сообщил, что господин капитан лейб-егерского полка Иван Васильевич Павлов 8 марта 1801 года найден убитым на тракте и что гибель сего достойного офицера произошла по причине грабежа.

И действительно, на убитом не было ни плаща, ни шпаги, ни ботфортов. Через сутки арестовали двух бродяг в кабаке близ Царского села. Они продали кабатчику меховой плащ. Как ни божились бродяги, что сняли одежду уже с убитого, им не поверили. Наказали кнутом и сослали на каторгу. О кучере никто ничего не упоминал.

Граф Пален был доволен полицмейстером и обещал представить его к награде.

10 марта батальон егерского полка проводил на кладбище капитана Павлова.

Когда опускали гроб в могилу, забили дробно барабаны, и солдаты троекратным ружейным залпом воздали воинскую почесть своему командиру.

Имущество капитана продали и послали деньги с лестным отзывом о покойном его матери в Кадниковский уезд в село Никольское.

*

* * *

Павел Петрович, узнав о гибели Павлова, крепко опечалился: «Упокой господи душу новопреставленного раба твоего Ивана!»

— Видно, скоро и меня бог приберет, — сказал Палену. — Так-то, сударь Петр Алексеевич. Ох, каково мне муторно!

После ухода Палена император вызвал адъютанта.

— Пошли фельдъегеря в главный штаб узнать, где сейчас находится барон Аракчеев — в Гатчине или у себя в усадьбе? — и незамедлительно передать ему мою эпистолю. — В эпистоле Павел просил милого друга Алексея Андреевича, бросив все дела, прибыть в Михайловский замок.

Ночью 11 марта пьяная ватага заговорщиков во главе с Паленом и братьями Зубовыми проникла через опущенный по паролю мост в Михайловский замок.

Караул во дворе был обезоружен. Дежурного офицера, крикнувшего: «Измена!», пронзили шпагами.

Император в длинной белой ночной рубаше сидел на кровати. Глаза его побелели от ужаса и негодования. Палена, который остановился перед ним, спросил:

— Вы кто, дьявол или человек?

Пален вынул из обшлага мундира бумагу.

— Сир, подпишите акт об отречении. Вас никто не тронет. Будете жить, как подобает вашему сану.

— Нет! Я самодержец! Помазанник божий! Не могу сего подписать.

Пален знал, что именно так скажет Павел, а офицеры знали: с царем надо кончать без промедления.

Пален отошел в сторону и подал рукой знак.

Тускло горели свечи. Заговорщики набросились на беззащитного императора.

Он босой выбежал на середину спальни.

— Опомнитесь, вы же присягали!

Валериан Зубов со словами: «Погибни, деспот!» — золотой массивной табакеркой ударил императора в висок.

Павла повалили на ковер, били.

Запах вина, пота и крови стоял в душной комнате.

— Шарф! Дайте шарф! — крикнул кто-то из офицеров. — Вот так! Кусается, сволочь!

— Накидывай на шею, туже тяни!

Когда все было кончено и на ковре лежало изуродованное тело Павла с посиневшим лицом, высунутым языком, выпученными глазами и вспухшим виском, Пален взглянул на него.

— Бедный безумец! — И в адрес присмиривших заговорщиков: — Господа, нельзя же быть такими мясниками. Поаккуратнее следовало бы... Ну что ж, коль раскупорили вино, надо его допивать.

В соседнюю комнату вбежала императрица Мария Федоровна. Она была неглиже, в ночных туфлях.

— Польшен! Польшен! — Заломила руки.

Пален не пустил ее в опочивальню.

— К государю нельзя, ступайте в свои апартаменты, мадам.

— Вы, граф, его убили! Вы есть злодей! Я буду видеть Польшен!

— Ничего вы не будете видеть, ваше величество. — И к офицерам: — Проводите Марию Федоровну к фрейлинам.

Теперь все беспрекословно подчинялись Палену. Императрицу бесцеремонно обхватили за талию и увели, а она по дороге вопила: «Польшен! Вы есть убийцы!»

Пален спустился на половину наследника. Александр, уже одетый в преображенский мундир, стоял в зале. Крупные слезы текли по его молодому лицу.

— Ваше величество, — Пален поклонился, — император Павел Первый скоростижно кончил свой путь от апоплексического удара. Приношу вам, государь, свои верноподданнейшие чувства.

— Что теперь делать, граф? Я горюю... я... я!..

— Успокойтесь, Александр Павлович! Не будьте тряпкою, — жестко произнес Пален. — Подпишите манифест о воцарении, он уже заготовлен. — И положил на стол рядом с чернильницей и гусиными перьями хрустящий лист бумаги.

Цесаревич присел к столу и красиво вывел подпись: «Александр».

— Пропустите меня к государю! — Расталкивая свитских, появился в дорожном плаще и походных ботфортах с медными шпорами генерал Аракчеев. Он уже знал о смерти Павла. Аракчеев был не только грубый, но и хитрый солдафон. Его физиономия выражала и горе и почтение, а глаза по-собачьи (он умел придавать им такое выражение) смотрели на Александра.

И от этого взгляда потеплело на душе у наследника. Вот где по-настоящему преданный человек — не заговорщик, не убийца, а друг! Он раскрыл свои объятия и, роняя слезы на шершавое сукно генеральского мундира, произнес:

— Алексей Андреевич, вы были близки к бабушке, будьте и мне другом!

И Аракчеев, взяв холеную руку Александра, облобызал ее несколько раз, приговаривая:

— Я, ваше величество, вам и покойному государю вековечный раб.

— Извольте видеть, какой афронт! — озадаченно воплголоса уронил Пален и скептически: — Вот вам и награда!

Утром тело Павла выставили в приемном зале. Художники и медики преобразили лик императора, а на поврежденный висок надвинули треуголку. Первыми пустили в зал выбранных от полков старослужащих солдат. Преображенцы, павловцы, семеновцы отказались присягать новому царю, пока не увидят покойного государя.

Солдаты молча и сурово прошествовали мимо гроба...

А в Петербурге царило радостное возбуждение: тяжелый дух гауптвахты, ограничений, строгих предписаний, полицейского надзора, казалось, должен кончиться. Дворяне, чиновники, офицеры собрались на Дворцовой площади перед Зимним, куда спешно переехал молодой император и где уже развеялся царский штандарт.

Император с супругой Елизаветой в окружении Палена, Бенигсена, Зубовых и Аракчеева вышел на балкон. Голубыми близорукими глазами обвел площадь. Мартовское солнце, разорвав серое полотнище неба, выглянуло и осветило балкон. Александр, подавляя волнение, заговорил. Его грудной красивый голос услышали.

— Все будет так, как при бабке, — государыне Екатерине..

И по площади пронеслось:

— Ура! Виват! Ура Александру!

А на тысячеверстных пространствах Российской империи в обездоленных селах и деревнях не радовались. Крестьяне твердо знали: если веселятся помещики — горюют мужики.

Подступала весна, надо было думать не о царях, а о посевах, о зерне, о том, каково будет лето и как прокормить и себя, и Россию.

СОДЕРЖАНИЕ

Василий Оботуров. Слушая время	5
Анастасия — царица Московская	9
Лихолетье	67
Россия на гауптвахте	169

Железняк Владимир Степанович ЛИХОЛЕТЬЕ

Для старшего школьного возраста

Редактор В. А. Беднов
Художник Н. В. Железняк
Художественный редактор В. С. Вежливец
Технический редактор Н. Б. Буйновская
Младший редактор В. И. Пригодина
Корректоры Н. К. Галкина, А. А. Фонтейнес

Сдано в набор 30.I.1979 г. Подписано к печати 19.IV.1979 г.
Форм. бум. 84×108/32 (бум. тип. № 1). Физ. печ. л. 7,5.
Уел. печ. листов 12,6. Уч.-изд. листов 12,198. Тираж 15000.
ГЕ04175. Заказ № 1006. Цена 50 коп.

Северо-Западное книжное издательство,
Вологодское отделение, Вологда, Урицкого, 2.
Областная типография, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

